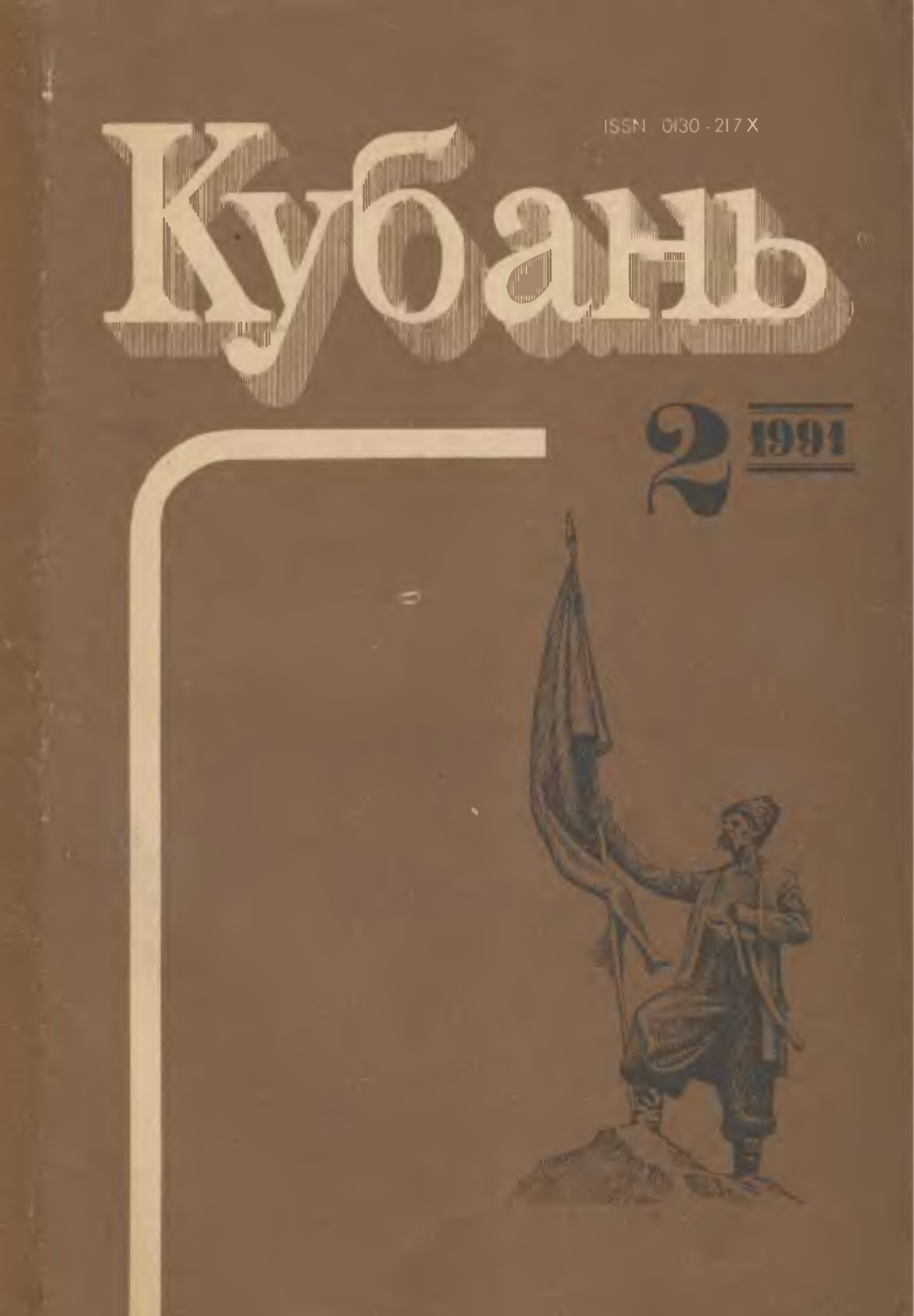
1 руб. 50 коп.
Индекс 73607

14



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юрию Поликарповичу Кузнецову, современному великому русскому поэту, исполняется 50 лет.

Творческий путь нашего земляка-кубанца — это крестный путь (реальный и предстоящий) русского народа к своему исцелению, обретению родного лица, к свободе. Путь через «ложные святыни», «наваждения» и «видения», через вселенское зло.

Редакция журнала поздравляет с юбилеем своего постоянного автора и члена редколлегии и желает ему высокого жизнетворчества во благо Отчизны.

Февраль
1991

Издается с 1945 г.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ — ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ И КОЛЛЕКТИВА РЕДАКЦИИ

Содержание

Иоанн Восторгов *

ИДЕЯ ОТЕЧЕСТВА

Мы утверждаем, что малоценное и недостойное, низменное знамя в движении и жизни народа неизбежно приведет его к гибели. Мы утверждаем, что в этом отношении долг служителей православных — говорить и не умолкать, не опасаясь того, что их слово может показаться кому-либо несвойственным храму или ненужным вторжением в чужую мирскую область жизни. «Крест — царей держава»,— так говорит нам песнь церковная.

Под какими знаменами обычно совершается движение народов в их истории?

Есть знамя **национализма,** ныне, кажется, наиболее и у нас, и в Европе прославленного. Под ним шел великий царь эллинов Александр Македонский. Он дошел до сопредельных Оренбургскому краю стран. Что же стало с его царством и что от него осталось? Ничего! Под ним же, во имя славы Рима, двигались грозные легионы цезарей: и народа Римского, как и древнего эллинского теперь тоже не существует. Под ним, ради славы Франции, шел прегордый Наполеон: в только что окончившихся юбилейных торжествах Отечественной войны мы не могли не вспомнить, не могли не убедиться, что это знамя для **мирового** делания и призвания народа оказалось негодным, оказалось слишком слабым источником воодушевления.

Есть знамя **патриотизма.** Патриотизм шире национальности, и в великих государствах, объединяющих множество народностей, становится уже не национальным только, а именно государственным. Но нравственная ценность его зависит от высоты идеалов, к которым он стремится, и если эти идеалы суть мирские, и если он сам исходит из животной любви ко всему своему, только за то и потому, что оно — свое, то не является ли тогда и патриотизм чем-то зоологическим, животным? Ибо и птицы защищают свои гнезда, и животные — норы и логовища, и звери ищут себе добычи и пропитания за счет других. Не таково ли и расширение границ государства во имя патриотизма, ничем иным, высшим, не одухотворенного? И что же он, в таком случае, несет миру, кроме постоянных столкновений, вражды, насилия и разделения?

И национальность, и государство — суть явления **временные** в истории мира; а человек ищет руководящих начал жизни вечных и неизменных, в свете их он должен принимать и жизнь народов, и государств.

И вот, перед нами попытки дать такие якобы всемирные и неизменно пребывающие основы жизни.

Есть знамя **обогащения** народа путем приобретения новых земель как рынков для сбыта продуктов труда. Сюда, для возвышения этого невысокого стремления, обыкновенно прибавляют, что производство возвышает **культурный** уровень государства-завоевателя, что торговля его в других странах приобщает дикие народы, в них живущие, ко благам просвещения и **культуры.** Культура, говорят,— это есть начало жизни, достойное человека... Напрасная попытка скрасить некрасивое, возвысить и облагородить низменные и грубые стремления, возвести эгоизм в добродетель и даже в орудие благодеяния миру! Пожар способствует иногда благоукрашению городов, но пожар остается пожаром и бедствием, и никто и нигде не будет допускать поджогов ради цели украшения городов.

Мы знаем царство, разумеем Испанию, в котором не заходило солнце — так велики были его владения, в которое вливалось золото Нового Света, всей Америки: оно не разбогатело и теперь является жалким и ничтожным. Не возмездие ли здесь за то, что оно следовало слишком низкому знамени жизни?

Есть еще одно знамя, модное для современности, имя ему — коммунизм. Он совсем отрицает и народ, и государство; он проповедует объединение всех людей экономическое, взаимную и общую работу производства и потребления, и на этой почве — соединение всех пролетариев, объединенных интересами своего класса, братством бедняков, живущих ненавистью к богатству и капиталу. Но представляя из себя, по исходной точке привязанности к земле и материальным благам, по воззрению на жизнь человека, ее сущность и задачи, представляя одно и то же с капитализмом, коммунизм дает те же животные идеалы народам и миру, которые пригодны только бессловесным: «будем есть и пить, ибо завтра утром умрем». Что же особенное и ценное совершили мы, если умели есть и пить, и затем умерли?

Нет, никогда великому народу не совершить ничего великого, если он не имеет в своем историческом шествии пред собою вековечного и истинно достойного знамени! Византия сошла со сцены мировой истории, но она несла пред собою на Восток Крест Господен и Евангелие, она дала христианство многим другим народностям,— и тем дала им вечную жизнь и вечное спасение. Она погибла потом физически под ударами мусульманства, но духовно жива и никогда не забудется в истории мира. Она свершила великое историческое дело и преемственно передала его России. Ни блистание искусства, ни наука, ни поэзия, ни архитектура — не это составляет ее мировую славу, слава ее — в постоянной верности православию, призванию, которое и давало содержание, огонь, воодушевление и поэзии, и науке, и архитектуре, и праву, и государственности.

Больше и шире ее захватил область завоеваний Тамерлан, шире шли Мамаевы орды, больше распространился Чингисхан; но что же они все оставили в истории? Безводное шумящее облако пронеслось над небом человеческой истории — и только.

Бесплодны будем и мы, если последуем этим низменным человеческим знаменам, если не воцерковим их и в воцерковлении не исправим.

Бесплодны будем и мы в жизни личной, семейной, общественной и государственной, если изменим вечному Христову знамени — Кресту Господню.

Крест и Евангелие, сохранение и распространение христианства, усвоение людьми искупительных заслуг и благодеяний Богочеловека — вот что является достойным знаменем великого и мирового народа. Тогда и национализм станет воцерковленным и будет не целью, не плодом, а средством для служения Царству Божию. Тогда и патриотизм будет воцерковленным, и государству земному укажет беспредельную ширь идеалов и целей небесных и вечных: дать людям мирное и безмятежное житие во всяком благочестии и чистоте.

Тогда и культура, просвещение, право, экономическое развитие, экономическая жизнь — все станет не целью — таковая цель недостойна и не удовлетворит человека,— а средством к тому, чтобы шире и глубже насадить на земле Царство Любви.

Может быть, скажут: все это — общеизвестные истины..

Ах, в том-то и ужас современности, что приходится доказывать то, что не нуждается, собственно, в доказательствах, а иногда и по существу является недоказуемым: приходится уяснить то, что открыто и ясно непосредственному сознанию нормальных здоровых людей. Больное время больных людей приводит нередко если не к подавлению и уничтожению, то, по крайней мере, к значительному ослаблению того, что ясно само по себе,— и в таком случае в высокой степени важно и полезно поддержать падающее и ослабевающее чувство долга доводами человеческой мысли, науки, заветов истории человечества.

Что мы видим и наблюдаем вокруг себя в отношении к тому, о чем у нас сейчас речь? Видим, как патриотизм и национализм нередко совершенно отделяются от нравственной почвы и православного смысла и чрез это обращаются в нечто животное, зоологическое, узкое, жестокое и недостойное человека. Это во-первых. А во-вторых, видим, что существуют целые направления мысли и жизни, и при том давние и все усиливающиеся, которые в корне отрицают саму идею отечества и связанный с нею патриотизм, и при том по разным мотивам, от самых якобы высших, даже мнимо христианских, до самых низших, опять-таки чисто животных.

«Передовые» и «мыслящие» круги русского общества давно уже усвоили себе начала так называемого либерального космополитизма: они противополагают идее отечества идею человечества, по их мнению, более широкую и даже всеобъемлющую: они заменяют любовь к отечеству, то есть любовь к ближним, «любовь к дальним» и ко всем людям вообще без различия, не различают своих и чужих, отрицают народности и право их на отдельное существование. Разумея такую мнимую широту любви и ссылаясь на неправильно толкуемые слова апостола о том, что в Церкви Христа нет эллина и иудея,— они почитают космополитизм истинно христианским явлением, а патриотизм — противоречием Евангелию.

Для низших классов обществ и, собственно, для многочисленной ныне полуинтеллигенции нашлись и более низменные, но и более ощутимые основания для отрицания отечества — в господствующем ныне мировоззрении социализма, точнее, социал-демократии. Здесь вместо идеи отечества указывается нечто другое: «вне общества людей,— говорится в одной брошюре, назначенной к распространению в войсках,— вне общества людей, сгруппировавшихся в целях производства и потребления продуктов, необходимых для жизни, не существует родины», и поэтому ни любить, ни защищать отечество нет смысла. «Патриотизм», говорится здесь черным по белому с циничною откровенностью,— «есть своего рода религия, и как всякая религия он является ложью и орудием порабощения». Вот, к примеру, вышедшая в Казани брошюра Ш. Альбера «Отечество, война и казарма». Она представляет письмо к солдату, и вот что она проповедует: «Привычка повиноваться

* Св. Новомученик Российский. Память 5 февраля.

«во имя отечества» создает только нравственную трусость». «Сын народа, надевая солдатскую форму, служит не отечеству, а становится предателем народа и своих братьев». Высшее благо — начать добросовестно работать над уничтожением армии. «Для этого одно средство: отказ повиноваться». Это (отказавшиеся повиноваться и отвергнувшие отечество) — истинные герои, память которых грядущие поколения будут так же чтить, как теперь мы чтим тех, «которые осмелились первыми восстать против тирании попов»... Кончается брошюра призывом: «необходимо организовать военную забастовку; для достижения этой цели необходима неустанная и широкая пропаганда»...

Идее гражданина здесь противополагается идея пролетария; вместо любви к отечеству указывается преданность экономическим интересам только своего рабочего класса, где бы он ни был на земном шаре, то есть «пролетариев всех стран»; вместо духовного единения в социальном организме — отечестве и в народности, указывается простое общение материальных интересов; вместо заботы о будущем отечества — исключительная забота о настоящем положении узкого класса людей и при том только в отношении пищи, одежды и жилища; человек ценится не сам по себе, не по своей духовной ценности, а по получаемой от него выгоде, и выгода, расчет материальный заменяет нравственное чувство и нравственный интерес, тогда как в отечестве основа жизни есть любовь братская к человеку, требующая самоотречения, в социализме проповедуется любовь только к своему классу, то есть к своим собственным личным и узким экономическим интересам. При таком мировоззрении нет ничего удивительного в том, что в дни самых возвышенных исторических воспоминаний, — разумеем переживаемые юбилеи,— питающих высокие патриотические чувства, до нас доходят и ясные и темные слухи о том, что патриотическое чувство ослабевает там, где оно должно быть особенно напряженным, именно во флоте и армии, где наблюдаются бунты и восстания под влиянием демократической пропаганды... По странному противоречию, социализм и коммунизм отрицают отечество во имя человечества и любви к нему и рядом с этим проповедуют классовую борьбу, вражду и ненависть и стремятся разжечь эти чувства всеми видами обмана, клеветы и подстрекательства, взывая к крови братоубийственной междоусобной войны.

Преподобный Сергий был великий патриот. Отечество, родина — были для него не пустым звуком.

По любви к Богу и истине крестился равноапостольный Владимир. Приводя к крещению не себя одного, но и народ, чем он руководствовался, как не любовью к отечеству, и что он имел в виду, как не будущее своего народа?

Первый после него христианский князь Ярослав, умирая, заповедует своим детям: «Вот я отхожу от света. Любите друг друга... Если будете жить в любви между собою, то Бог будет с вами, если же будете ненавидеть друг друга, то и сами погибнете, и погубите землю отцов своих, которую они добыли великим трудом своим». Другой князь, несчастный Василько, ослепленный предательскою рукою, отдается воспоминаниям о том, как хотел он идти походом на землю Лядскую, защитить Землю Русскую, как мечтал после того идти на половцев в одной решимости: «Либо славу себе найду, либо голову сложу за Русскую Землю». Таким образом, жить для родины и умереть за нее составляло сладкую мечту лучших наших князей. Вот Владимир Мономах, потеряв сына, весь в скорби от ужасной потери. Встает в воображении трогательная картина из жизни этого благороднейшего из князей, ясно говорящая о его глубоком религиозном мировоззрении: «И возьми псалтирю в печали, разгнух я, и то ми ся выня: вскую печалуеши, душе, вскую смущаеши, душе, вскую смущаеши мя? Уповай на Бога» В виду отечества и в виду религиозного долга и послушания пред церковью умолкают в нем личные чувства. К виновнику своего горя, убившему его сына, князю Олегу, Владимир Мономах обращается не со словами мстительности, а с высоким призывом: «Приди ты в Киев, там уладим мы порядок о Русской Земле пред епископами, игуменами и пред людьми градскими и подумаем, как оборонить Русскую Землю». То же делает князь Вячеслав Владимирович; он уговаривает других русских князей: «Не проливайте крови христианской, не губите Русской Земли. Мне сделали бесчестье и сильно обидели, у меня полки и силу я имею, но ради Русской Земли и христиан я все забываю».

Та же мысль о благе Русской Земли слышится и в градских людях, в словах Посольства киевских граждан к князьям при Святополке: «Если станете воевать друг с другом, то поганые обрадуются и возьмут Землю Русскую, которую приобрели деды и отцы ваши; они с великим трудом и храбростью поборали по Русскую Землю, да и другие земли приискивали, а вы хотите погубить и свою». Так уже тогда сознавалась сынами родины ответственность пред прошлым и будущим отечества. И какое благородное негодование звучит в устах древнего русского безымянного поэта, — в «Слове о полку Игореве», по поводу княжеских распрей, сколько заботы о благе всей земли, сколько возвышенной хвалы доблести воинов, что отдали жизнь за отечество, — «в кровавом пиру сватов напоиша и полегоша за Землю Русскую»!. Не то ли самое слышится и в

словах нового поэта, главы и славы нашей поэзии: «Пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы»? (Пушкин).

Нужно ли еще умножать примеры? Заметим и отметим одно: думать о будущем и ради него жить, помнить сознательно прошлое и на нем строить будущее, — это одно из преимуществ и отличий человека от животного, ибо животное живет обыкновенно только текущим моментом. Здесь приговор социал-демократии, ее духовной ценности, точнее — ее духовному полному ничтожеству... Умирать за будущее, которого мы уже не увидим сами на земле,— это высокий пример истинного самоотречения, любви к людям и достойнейшего героизма. И здесь также показатель нравственного ничтожества социал-демократии, способной вдохновить только звериные инстинкты. С этой точки зрения поучительно вспомнить упомянутых князей древнерусских! Дух их не умер. Мы слышим его даже в Грозном царе, у которого сознание общего блага отечества выражалось даже в болезненных формах беспощадного преследования защитников частного интереса; мы слышим его особенно в величавых словах «Утвержденной грамоты» — грамоты избрания на царство Михаила Романова, всецело основанной на заботах и самопожертвовании для блага будущего. Неоднократно в ней читаем как бы с особливою настойчивостью подчеркиваемую мысль о будущем: «да будет впредь крепко, и неподвижно, и настоятельно во веки, как в сей утвержденной грамоте написано... на будущие лета, в роды и роды».

Позднее и Петр Великий под Полтавою, и Александр Благословенный пред войною, получившей знаменательное название «Отечественной» — обращались к тому же чувству любви и сознанию долга перед отечеством, призывали народ и воинов к подвигу. Можно привести примеры патриотизма даже из той области, где религиозные и нравственные основы действий человека сознательно устранены, и где все же остается место для любви к родине. Один из выдающихся и известнейших революционеров Франции, в ответе на предложение бежать с родины и наверняка получить безопасность, говорит грустно: «Разве я унесу отечество с собою на подошвах?» (Дантон).

Итак, если идея отечества так сильна в людях, то, очевидно, она не ничтожна, не бесполезна, не случайна; ее нельзя назвать искусственной и вымышленной.

Каковы же ее оправдания?

Прежде всего идея эта прирождена нам; она — естественна для нас так же, как семья и место рождения: человек не может родиться вне времени, места и условий окружающей среды. Отечество поэтому есть одна из ступеней, притом совершенно неизбежных,— ступенею любви к тому же человечеству, причем не преходящая, а постоянная, как и семья: это школа любви к человечеству. Превосходно это изображает русская народная мудрость в присловиях своих: «За отечество живот и голову кладут»; «Кости на чужбине и в могиле по родине плачут»,— но здесь нет исключения всего прочего мира из содержания духовной жизни человека: «Рыбам — море, птицам — воздух, а человеку — **Отчизна — вселенный круг»**. Так гласит народная мудрость. Нельзя дорасти до чувства и сознания Вселенной, не имея чувства и сознания отечества. Потому-то и неправ так называемый либеральный космополитизм: между идеями человечества и отечества вовсе нет противоположения, а есть только последовательность, притом постоянная, и в одном и том же лице одно чувство не уничтожает другое, напротив, служит для него неизбежным и постоянным источником.

Отечество, давая человеку то прошлое и будущее, без которых, как мы сказали, человек принижается до животного, удовлетворяет далее и еще одной неистребимой потребности человека, естественной, врожденной ему: мы разумеем потребность общественности. Отечество справедливо поэтому называется одной из величайших общественных идей, и те, которые много твердят об общественном подвиге, об общественной работе, о так называемом социальном вопросе, не исключая и последователей социал-демократии, — те просто не дали себе труда и задачи продумать до конца мысль о полноте и жизненности таковой работы, если отрицают все и всякие отечества на свете. Это значит забивать, засорять, уничтожать источник, и наивно при этом полагать, что течение воды из этого источника продолжится.

Для общества идея отечества безмерно ценнее идеи человечества, ибо именно в отечестве вырабатывается способность жертвовать частным во имя общего; в жизни отечества преследуются и достигаются цели не той животной классовой борьбы, о которой говорит социализм, а того разумного и нравственного согласования интересов, того симбиоза, без которого жизнь людей перестает быть общественной: здесь система и путь взаимных услуг и уступок, о которых говорит история каждого государства и особенно государства русского, где князья и служилые люди, в их числе и родитель преподобного Сергия, приобретали далекие и близкие земли, как и это былое княжество Радонежское,— для крестьян, а крестьяне отдавали в жертву дорогую свободу передвижения для колонизации государства. В отечестве истинная школа общественных чувств, мыслей и действий, как в семье — школа любви к людям, ничем не заменимая. И не насилие, не эксплуатация сильными слабых совершается в отечестве, как низко кле-

вещет коммунизм: напротив, здесь условие жизни слабых, «условие безусловное», ибо слабые, как, например, дети, старцы и больные, вообще чем-либо обездоленные, — неминуемо бы погибли, если бы не было семьи, рода, племени, народа, — т. е. отечества, и планомерно, по общественному началу устроенной в нем государственности. Не видит этого только слепой или, что еще хуже, тот зрячий, который намеренно закрывает глаза и отворачивается от света.

Здесь же, в отечестве, в длительном процессе историческом, в процессе организации правильного общежития, общественного управления и государственного устройства вырабатывается преемственность исторических задач и осуществление народом мирового своего призвания, своего соотношения на земле к человечеству и в высшем вечном провиденциальном смысле. Народ без мирового призвания, без сознания и исполнения этого Богом указанного призвания, — все равно что отдельный человек — бродяга, не помнящий родства, выбитый из колеи жизни; это — недоделанная, недоразвитая нация, обреченная на увядание раньше расцвета и плодоношения.

Неудивительно поэтому, а прямо необходимо и благодетельно то, что история движется не в русле идеи человечества, никому не открытого в целом, а в русле народностей и государств, и история мира есть история государств; даже Александр Великий и Цезарь шли к осуществлению всемирных задач общечеловеческих — через государство и нацию и от государства и нации.

Трудно ответить определенно на вопрос, кто в большей мере были строителями Земли Русской: святые или государственные деятели... Возвышенный патриотизм наших святых и подвижников, во всяком случае, не подлежит никакому сомнению. И преподобный Сергий был великим патриотом: и его дорогую подпись мы видим под великим актом государственным, утверждавшим новый порядок престолонаследия на Руси; его участие в делах государственных вообще — есть общеизвестный факт. В молитве к нему читаем: «Вся Богопросвещенная Россия, твоими чудесы исполненная и милостями облагодетельствованная, исповедует тя быти своего покровителя и заступника». Он любил народ русский, любил отечество, но он любил народ и отечество в царстве Божием. Знаменательно в этом отношении слово преподобного Сергия к великому князю Московскому ввиду нашествия хана татарского: «Если требует чести, — отдай, если ищет золота, — отдай; но за веру православную и Христову Церковь нам подобает и кровь свою пролити, и живот свой положити».

О, если бы мы любили отечество воцерковленным, православным, духовно преуспевающим и в Бога богатеющим! Тогда мы не поддавались бы соблазну тех новых идей подменного христианства и гуманизма, которые, вытравляя дух народа, постепенно готовят гибель отечества, а с ним великого и незаменимого поприща воспитания нашего духа в высших добродетелях любви и самоотречения во имя Бога и блага ближних.

Тогда не было бы у нас позорной, часто даже бессознательной уступчивости тем надвигающимся соблазнам либерального космополитизма и всеуравнивающего и обезличивающего, убивающего человеческий дух демократизма, которые постепенно завоевывают умы и незаметно ведут нас к равнодушию к вере и Церкви, к равнодушию по отношению к родине.

Статья перепечатана из приложения к «Церковным ведомостям», издававшимся при Святейшем правительствующем Синоде, № 41 от 15 октября 1912 года.

Борис Савинков

ИЗ «КНИГИ СТИХОВ»

Читатель много потеряет, если вздумает подойти к этой книге, как к обыкновенному (еще одному!) сборнику стихов. Потеряет и профессионал, со своей точки зрения ни стихи прежде всего и паче всего — как на «стихи»... Но дело в том, что поэзия (и поэзия особенно) требует, в иных случаях, более глубокого проникновения, а не чисто «поэтических» оценок.

Книгу писал поэт не совсем обыкновенный, а потому и книга не совсем обыкновенная.

Я не буду касаться (насколько это возможно) автора, как человека, ни его, достаточно известной, биографии: здесь речь о Ропшине[1] прозаике и поэте — о поэте главным образом. Но, конечно, самая необычность его поэзии в том, что за нею, как за его прозой, стоит он весь, во всей своей беспримерной сложности, углубленной узости и — самой реальной действительности. Не много из отмеренного ему времени мог он уделить стихотворчеству; однако и в нем сумел как-то отразиться весь: со своей жизнью, с ее центральным трагическим острием.

Необходимо отметить, что Савинков-Ропшин обладал удивительным свойством, которое я не знаю как назвать и чем объяснить: талантливостью, пожалуй, мало; гениальностью — нельзя, потому что в душе, где непрерывно сталкивались такие огромные противоречия, ни одна, самая яркая, способность не могла дойти до остроты гениальной. Свойство, о котором говорю, — это какое-то волшебное умение угадывать и схватывать то, что оказывалось ему в данный момент нужным и мгновенно претворялось в собственную действенную силу. Он точно вспоминал, находил себя еще в новой какой-нибудь стороне, в новом даровании. Так нашел он и себя — писателя...

Из предисловия З. Н. Гиппиус к изданной в 1931 году в Париже «Книге стихов» Б. Савинкова (посмертное издание).

I

Не князь ли тьмы
меня лобзанием смутил?
Не сам ли Аваддон,
владыка звездных сил,
Крылами к моему склонился изголовью
И книгу мне раскрыл,
написанную кровью:
«О горе, горе... Вавилон не пал...
Час гнева Божьего ужели не настал?
Кто в броне огненной,
в пурпурной багрянице,
Отважный, вступит в бой
с Великою Блудницей?
Иссяк источник вод,
горька звезда Полынь,
Ты — ветвь иссохшая,
прах выжженных пустынь».
Я меду внял
речей лукавых и надменных,
Я книгу прочитал деяний сокровенных,
Я, всадник,
острый меч в бездумье обнажил,
И ангел Аваддон опять меня смутил.
Губитель прилетел,
склонился к изголовью
И на ухо шепнул: душа убита кровью...

II

Он опять присел ко мне на кровать
И взял мою руку:
Я пришел тебе рассказать
Про твоего внука.
Когда ты умрешь, он родится.
Он будет такой же, как ты,
Но он будет в церкви молиться
И соблюдать все посты.
Он будет, как ты.
А когда он умрет, родится
Его двойник, его внук.

[1] Псевдоним Бориса Савинкова.

И он опять приобщится
Тех же, твоих же, мук.
Лучше бы ему не родиться,
Пока должное не свершится,
Пока человек не спасется,
Пока не замкнется начертанный путь.

III

Дай мне немного нежности:
Сердце мое закрыто...
Дай мне немного радости:
Сердце мое забыто...
Дай мне немного кротости:
Сердце мое, как камень...
Дай мне немного жалости:
Я весь изранен...
Дай мне немного мудрости:
Моя душа опустела...
Дай мне немного твердости:
Душа моя отлетела...
Или благослови мою смерть!..

IV

У нее были большие руки
И волнистые волосы...
И от скуки,
Оттого, что в небе
таяли серые полосы,
Оттого, что черт кувыркался,
Оттого, что я любви испугался,
Я целовал эти руки.
Снова коридоры каменные
сомкнулись...
Ты ли,
Ты мне улыбалась?
Ведь я от скуки,
Только от скуки,
Целовал твои бледные, твои милые,
Твои любимые руки...

V

Я на кладбище прочел эпитафию:
«Господи, пожалей
Рабу твою Агафью.
Она много любила
и потому умерла.
Ведь в этом вся ее жизнь была.
Господи, пожалей
Рабу твою Агафью...»
И еще я прочел эпитафию:
«Господи, пожалей
Рабу твою Людмилу.
Она никого не любила
И поэтому умерла.
В этом вся ее жизнь была.
Господи, пожалей
Рабу твою Людмилу...»

Плакал дождик унылый...
Я до земли поклонился
И помолился:
«Господи, равно пожалей
Обе женские эти могилы...»

VI

Любовница и верная жена,
Ты друг, ты мать, сестра и королева,
Ты для меня не женщина, а дева.
Но волей высшего ты в жены мне дана.
Ты прелестью греховною полна,
В грехе зачатая, грехом святая Ева.
В дни благочестия, смиренья или гнева,
В дни похоти и тяжкого вина,
Ты — я.
Ты зеркало души моей несчастной.
Будь сложной. Будь простой.
И будь бесстрастной.

VII

Хмурые звуки
Расстроенного рояля,
Испуганные руки
Маленького мальчика Вали.
В темноте два зеленых глаза,
Два горящих глаза, два изумруда...
Никогда не свершится Божье чудо,
Никогда не простится мой грех Исава:
Голубая отрава
Сразу меня убила...
Пожалей меня, мальчик мой милый...

VIII

В зале шуршали мыши,
Стучал дождь по крыше,
За окном пароход свистел.
А он висел.
Маятник тикал звонко,
Мать качала ребенка.
В черной раме Христос скорбел,
Лампа дымно чадила...

IX

Нет родины — и все кругом неверно,
Нет родины — и все кругом ничтожно,
Нет родины — и вера невозможна,
Нет родины — и слово лицемерно,
Нет родины — и радость без улыбки,
Нет родины — горе без названья,
Нет родины — и жизнь,
как призрак зыбкий,
Нет родины — и смерть, как увяданье...
Нет родины. Замок висит острожный,
И все кругом ненужно или ложно...

Иван Солоневич

РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ*

СИНЕДРИОН

На другой же день меня снова вызывают на допрос. На этот раз Добротин не один. Вместе с ним еще каких-то три следователя, видимо, чином значительно выше. Один в чекистской форме с двумя ромбами в петлице. Дело идет всерьез.

Добротин держится пассивно и в тени. Допрашивают те трое. Около пяти часов идут бесконечные вопросы о всех моих знакомых, снова выплывает уродливый, нелепый остов Степушкиного детективного романа, но на этот раз уже в новом варианте. Меня в шпионаже уже не обвиняют. Но граждане X, Y, Z и прочие занимались шпионажем, и я об этом не могу не знать. О Степушкином шпионаже тоже почти не заикаются, весь упор делается на нескольких моих иностранных и неиностранных знакомых. Требуется, чтобы я подписал показания, их изобличающие, и тогда — опять разговор о молодости моего сына, о моей собственной судьбе, о судьбе брата. Намеки на то, что мои показания весьма существенны «с международной точки зрения», что ввиду дипломатического характера моего этого дела имя мое нигде не будет названо. Потом намеки — и весьма прозрачные — на расстрел всех нас троих, в случае моего отказа и т. д. и т. д.

Часы проходят, я чувствую, что допрос превращается в конвейер. Следователи то выходят, то приходят. Мне трудно разобрать их лица. Я сижу на ярко освещенном месте, в кресле, у письменного стола. За столом Добротин, остальные в тени, у стены огромного кабинета, на каком-то диване.

Прорваться я не могу, хотя бы просто потому, что я решительно ничего не выдумываю. Но этот многочасовой допрос, это огромное нервное напряжение временами уже заволакивают сознание какой-то апатией, каким-то безразличием. Я чувствую, что этот конвейер надо остановить.

— Я вас не понимаю,— говорит человек с двумя ромбами.— Вас в активном шпионаже мы не обвиняем. Но какой вам смысл топить себя, выгораживая других. Вас они так не выгораживают.

Что значит глагол «не выгораживают» и еще в настоящем времени? Что эти люди или часть из них уже арестованы? И действительно «не выгораживают» меня? Или просто это новый трюк?

Во всяком случае, конвейер надо остановить.

Со всем доступным мне спокойствием и со всей доступной мне твердостью я говорю приблизительно следующее:

— Я журналист и, следовательно, достаточно опытный в советских делах человек. Я не мальчик и не трус. Я не питаю никаких иллюзий относительно своей собственной судьбы и судьбы моих близких. Я ни на одну минуту и ни на одну копейку не верю ни обещаниям, ни унещеваниям ГПУ, весь этот роман я считаю форменным вздором и убежден в том, что таким же вздором считают его и мои следователи; ни один мало-мальски здравомыслящий человек ничем иным и считать его не может. И что ввиду всего этого я никаких показаний не только подписывать, но и вообще давать не буду.

— То есть, как это вы не будете? — вскакивает один из следовате-

* Продолжение. Начало в № 1 за 1991 г.

лей и замолкает. Человек с двумя ромбами медленно подходит к столу и говорит:

— Ну, что ж, Иван Лукьянович. Вы сами подписали ваш приговор... И не только ваш. Мы хотели дать вам возможность спасти себя. Вы этой возможностью не воспользовались. Ваше дело. Можете идти.

Я встаю и направляюсь к двери, у которой стоит часовой.

— Если одумаетесь, — говорит мне вдогонку человек с двумя ромбами, — сообщите вашему следователю. Если не будет поздно...

— Не одумаюсь.

Но когда я вернулся в камеру, я был совсем без сил. Точно вынули что-то самое ценное в жизни и голову наполнили бесконечной тьмой и отчаянием. Спас ли я кого-нибудь в реальности? Не отдал ли я брата и сына на расправу этому человеку с двумя ромбами? Разве я знаю, какие аресты произведены в Москве, и какие методы допросов были применены, и какие романы плетутся или сплетены там. Я знаю, я твердо знаю, знает моя логика, мой рассудок, знает весь мой опыт, что я правильно поставил вопрос. Но откуда-то со дна сознания подымается что-то темное, что-то почти паническое, и за всем этим кудрявая голова сына, развороченная выстрелом из револьвера на близком расстоянии.

Я забрался с головой под одеяло, чтобы ничего не видеть, чтобы меня не видели в этот глазок, чтобы не подстерегли минуты упадка.

Но дверь лязгнула, в камеру вбежали два надзирателя и стали стаскивать одеяло. Чего они хотели, я не догадался, хотя я знал, что существует система медленного, но довольно верного самоубийства — перетянуть шею веревочкой или полоской простыни и лечь. Сонная артерия передавлена, наступает сон, потом смерть. Но я уже оправился.

— Мне мешает свет.

— Все равно голову закрывать не полагается.

Надзиратели ушли, но волчок поскрипывал всю ночь.

ПРИГОВОР

Наступили дни безмолвного ожидания. Где-то там, в гигантских и беспощадных зубцах чекистской машины вертится стопка бумаги с пометкой «Дело 2248». Стопка бежит по каким-то роликам, подхватывается какими-то шестеренками. Потом подхватит ее какая-то одна, особенная шестеренка — и вот придут ко мне и скажут: «Собирайте вещи»...

Я узнаю, в чем дело, потому что они придут не вдвоем и даже не втроем. Они придут ночью. У них будут револьверы в руках, и эти револьверы будут дрожать больше, чем дрожал кольт в руках Добротина в вагоне номер 13.

Снова бесконечные бессонные ночи. Тускло с центра потолка подмигивает электрическая лампочка. Мертвая тишина корпуса одиночек лишь изредка прерывается чьими-то предсмертными ночными криками. Полная отрезанность от всего мира. Ощущение человека, похороненного заживо.

Так проходит три месяца.

...Рано утром часов в шесть в камеру входит надзиратель. В руке у него какая-то бумажка.

— Фамилия?

— Солоневич, Иван Лукьянович.

— Выписка из постановления чрезвычайной судебной тройки ПП ОГПУ ЛВО от 28 ноября 1933 года.

У меня чуть-чуть замирает сердце, но в мозгу уже ясно: это не расстрел. Надзиратель один и без оружия.

...Слушали: дело 2248 гражданина Солоневича Ивана Лукьяновича, по обвинению его в преступлениях, предусмотренных статьями 58 пункт 6; 58 пункт 10; 58 пункт 11 и 59 пункт 10...

Постановили: признать гражданина Солоневича Ивана Лукьяновича виновным в преступлениях, предусмотренных указанными статьями, и заключить его в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет. Распишитесь...

Надзиратель кладет бумажку на стол, текстом книзу. Я хочу лично прочесть приговор и записать номер дела, дату и пр. Надзиратель не позволяет. Я отказываюсь расписаться. В конце концов он уступает.

Уже потом в концлагере я узнал, что это — обычная манера объявления приговора; впрочем, крестьянам очень часто приговора не объявляют вовсе. И человек попадает в лагерь, не зная или не помня номера дела, даты приговора, без чего всякие заявления и обжалования почти не возможны и что в большей степени затрудняет всякую юридическую помощь заключенным.

Итак, восемь лет концентрационного лагеря. Путевка на восемь лет каторги, но все-таки не путевка на смерть.

Охватывает чувство огромного облегчения. И в тот же момент в мозгу вспыхивает целый ряд вопросов: отчего такой милостивый приговор, даже не 10, а только 8 лет? Что с Юрой, Борисом, Ириной, Степушкой? И в конце этого списка вопросов — последний: как удастся очередная — которая по счету? — попытка побега? Ибо если мне и советская воля была невтерпеж, то что же говорить о советской каторге?

На вопрос об относительной мягкости приговора у меня ответа нет и до сих пор. Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что мы не подписали никаких доносов и не написали никаких романов. Фигура романиста, как бы его ни улещали во время допросов, всегда остается нежелательной фигурой, конечно, уже после окончательной редакции романа. Он уже записал все, что от него требовалось, а потом из концлагеря начнет писать заявления, опровержения, покаяния. Мало ли какие группировки существуют в ГПУ. Мало ли кто может друг друга подсиживать. От романиста проще отделаться совсем: мавр сделал свое дело, и мавр может отправляться ко всем чертям. Документ остается, и опровергать его уже некому. Может быть, меня оставили жить для того, чтобы ГПУ не удалось создать крупное дело. Может быть, благодаря признанию советской России Америкой. Кто его знает, отчего?

Борис, значит, тоже получил что-то вроде 8 — 10 лет концлагеря. Исходя из некоторой пропорциональности вины и прочего, можно было бы предполагать, что Юра отделается какой-нибудь высылкой в более или менее отдаленные места. Но у Юры были очень плохи дела со следователем. Он вообще от всяких показаний отказался, и Добротин мне о нем говорил: «Вот тоже ваш сын, самый молодой и самый жутковатый». Степушка своим романом мог себе очень сильно напортить.

В тот же день меня переводят в пересыльную тюрьму на Нижегородской улице.

В ПЕРЕСЫЛКЕ

Огромные каменные коридоры пересылки переполнены всяким народом. Сегодня — «большой прием». Из провинциальных тюрем прибыли сотни крестьян, из Шпалерки — рабочие, урки (профессиональный уголовный элемент) и к моему удивлению всего несколько человек интеллигенции. Я издали замечаю всклокоченный чуб Юры, и Юра устремляется ко мне, уже издали показывая пальцами — три года. Юра исхудал почти до неузнаваемости: он, оказывается, объявил голодовку в виде протеста против недостаточного питания. Мотив, не лишенный оригинальности. Здесь же и Борис, тоже исхудавший, обросший бородищей и уже поглощенный мыслью о том, как нам всем попасть в одну камеру. У него, как и у меня, восемь лет, но в данный момент все эти сроки нас совершенно не интересуют. Все живы — и то слава Богу.

Борис предпринимает ряд таинственных манипуляций, а часа через два — мы все в одной камере, правда, одиночке, но сухой и светлой и главное без всякой посторонней компании. Здесь мы можем крепко обняться, обменяться всем пережитым и... обмозговать новые планы побега.

В этой камере мы как-то быстро и хорошо обжились. Все мы были вместе и пока что вне опасности. У всех нас было ощущение выздоровления после тяжкой болезни, когда силы прибывают и когда весь мир кажется

ярче и чище, чем он есть на самом деле. При тюрьме оказалась старенькая библиотека. Нас ежедневно водили на прогулку. Сначала трудно было ходить: ноги ослабели и подгибались. Потом после того, как первые передачи влили новые силы в наши ослабевшие мышцы, Борис как-то предложил:

— Ну, теперь давайте тренироваться в беге. Дистанция — икс километров: совдепия — заграница.

На прогулку выводили сразу камер десять. Ходили по кругу, довольно большому, диаметром метров сорок, причем каждая камера должна была держаться на расстоянии десяти шагов одна от другой. Не нарушая этой дистанции, нам приходилось «бегать» почти на месте, но мы все же бегали. Прогульщик, тот чин тюремной администрации, который надзирает за прогулкой, смотрел на нашу тренировку скептически, но не вмешивался. Рабочие посмеивались. Мужики смотрели недоуменно. Из окон тюремной канцелярии на нас взирали изумленные лица... А мы все бегали.

Прогульщик стал смотреть на нас уже не скептически, а даже несколько сочувственно.

— Что, спортсмены? — спросил он как-то меня.

— Чемпион России, — кивнул я в сторону Бориса.

— Вишь ты, — сказал прогульщик.

На следующий день, когда прогулка уже кончилась, и вереница арестантов потянулась в тюремные двери, он нам подмигнул:

— А ну, валяй по пустому двору!

Так мы приобрели возможность тренироваться более или менее всерьез. И попали в лагерь в таком состоянии физической fitness, которое дало нам возможность обойти много острых и трагических углов лагерной жизни.

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ТЮРЬМА

Это была рабоче-крестьянская тюрьма в буквальном смысле. Сидя в одиночке на Шпалерке, я не мог составить себе никакого представления о социальном составе населения советских тюрем. В пересылке мои возможности несколько расширились. На прогулку выводили человек от 50 до 100 одновременно. Состав этой партии менялся постоянно, одних куда-то усылали, других присылали, но за весь месяц нашего пребывания в пересылке мы оставались единственными интеллигентами в этой партии — обстоятельство, которое для меня было несколько неожиданным.

Больше всего было крестьян, до жути изголодавшихся и каких-то пособенному пришибленных. Иногда встречаясь с ними где-нибудь в темном углу лестницы, слышишь придушенный шепот:

— Братец, а, братец. Хлебца бы корочку... а?

Много было рабочих. Эти имели чуть-чуть менее голодный вид и были лучше одеты. И, наконец, мрачными фигурами, полными окончательного отчаяния и окончательной безысходности, шагали по кругу «знатные иностранцы».

Это были почти исключительно финские рабочие, теми или иными, но большей частью нелегальными способами перебравшиеся в страну строящегося социализма, на «родину всех трудящихся». Сурово их встретила эта родина. Во-первых, ей и своих трудящихся деть было некуда; во-вторых, и чужим трудящимся неохота показывать своей нищеты, своего голода и своих расстрелов. А как выпустить обратно этих чужих трудящихся, хотя бы одним уголком глаза уже увидевших советскую жизнь не из окна спального вагона?

И вот, месяцами они маячат здесь по заколдованному кругу пересылки (сюда сажали и следственных, но не срочных заключенных) без языка, без друзей, без знакомых, покинув волю своей не пролетарской родины и попав в тюрьму пролетарской.

Эти пролетарские иммигранты в СССР — легальные, полулегальные и вовсе нелегальные — представляют собой очень жалкое зрелище. Их привлекла сюда та безудержная коммунистическая агитация о прелестях социалистического рая, которая была особенно характерна для первых лет пятилетки и для первых надежд, возлагавшихся на эту пятилетку. Предполагался бурный рост промышленности и большая потребность в квалифицированной рабочей силе, предполагался «небывалый рост благосостояния широких масс трудящихся» — многое предполагалось. Пятилетка пришла и прошла. Оказалось, что и своих собственных рабочих девать некуда, что перед страной, в добавление к прочим прелестям, стала угроза массовой безработицы, что от благосостояния массы ушли еще дальше, чем до пятилетки. Правительство стало выживать из СССР и тех иностранных рабочих, которые приехали по договорам и которым тут нечего было платить и которых нечем было кормить. Но агитация продолжала действовать. Тысячи неудачников-идеалистов, если хотите, идеалистических карасей, поперли в СССР всякими не очень легальными путями и попали в щучьи зубы ГПУ.

Можно симпатизировать и можно не симпатизировать политическим убеждениям, толкнувшим этих людей сюда. Но не жалеть этих людей нельзя. Это не та коминтерновская шпана, которая едет сюда по всяческим, иногда даже не очень легальным визам советской власти, которая отдыхает в Крыму, на Минеральных Водах, которая объедает русский народ Инснабами, субсидиями и просто подачками. Они, эти идеалисты, бежали от «буржуазных акул» к своим социалистическим братьям. И эти братья первым делом скрутили им руки и бросили их в подвалы ГПУ.

Эту категорию людей я встречал в самых разнообразных местах советской России, в том числе и у финляндской границы в Карелии, откуда их на грузовиках и под конвоем ГПУ волокли в Петрозаводскую тюрьму. Это было в селе Койкоры, куда я пробрался для разведки насчет бегства из социалистического рая, а они бежали в этот рай. Они были очень голодны, но еще больше придавлены и растеряны. Они видели еще очень немного, но и того, что они видели, было достаточно для самых мрачных предчувствий насчет будущего. Никто из них не знал русского языка, и никто из конвоиров не знал ни одного иностранного. Поэтому мне удалось на несколько минут втиснуться в их среду в качестве переводчика. Один из них говорил по-немецки. Я переводил под проницательными взглядами полудюжины чекистов, буквально смотревших мне в рот. Финн плохо понимал по-немецки, и приходилось говорить очень внятно и раздельно. Среди конвоиров был один еврей, он мог кое-что понимать по-немецки, и лишнее слово могло бы означать для меня концлагерь.

Мы стояли кучкой у грузовика. Из-за изб на нас выглядывали перепуганные карельские крестьяне, которые шарахались от грузовика и от финнов, как от чумы: перекинешься двумя-тремя словами, а потом Бог знает, что могут пришить. Финны знали, что местное население понимает по-фински, и мой собеседник спросил, почему к ним никого из местных жителей не пускают. Я перевел вопрос начальнику конвоя и получил ответ:

— Это не ихнее дело.

Финн спросил, нельзя ли достать хлеба или сала. Наивность этого вопроса вызвала хохот у конвоиров. Финн спросил, куда их везут. Начальник конвоя ответил: «Сам увидит» и предупредил меня: «Только вы лишнего ничего не переводите». Финн растерялся и не знал, что спрашивать больше. Арестованных стали сажать в грузовик. Мой собеседник бросил мне последний вопрос:

— Неужели буржуазные газеты говорили правду?

И я ему ответил словами начальника конвоя: увидите сами. И он понял, что увидеть ему предстоит еще очень много.

В концлагере ББК я не видел ни одного из этих дружественных иммигрантов. Впоследствии я узнал, что всех их отправляют подальше: за Урал, на Караганду, в Кузбасс, подальше от соблазна нового бегства — бегства-возвращения на свою старую и несоциалистическую родину.

УМЫВАЮЩИЕ РУКИ

Однако самое приятное в пересылке было то, что мы, наконец, могли завязать связь с волей, дать знать о себе людям, для которых мы четыре месяца тому назад как в воду канули, слать и получать письма, получать передачи и свидания.

Но с этой связью дело обстояло довольно сложно: мы не питерцы, и по моей линии в Питере было только два мои старых товарища. Один из них, Иосиф Антонович, муж г-жи Е., явственно сидел где-то рядом с нами, но другой был на воле, вне всяких подозрений ГПУ и вне всякого риска, что передачей или свиданием он навлечет какое бы то ни было подозрение: такая масса людей сидит по тюрьмам, что если поарестовывать их родственников и друзей, нужно было бы окончательно опустошить всю Россию. Nominae sunt odiosa — назовем его «профессором Костей». Когда-то очень давно наша семья вырастила и выкормила его, почти беспризорного мальчика; он кончил гимназию и университет. Сейчас он мирно профессорствовал в Петербурге, жил тихой кабинетной мышью. Он несколько раз проводил московские свои командировки у меня в Салтыковке, и у меня с ним была почти постоянная связь.

И еще была у нас в Питере двоюродная сестра. Я и в жизни ее не видал. Борис встречался с нею давно и мельком: мы только знали, что она, как и всякая служащая девушка в России, живет нищенски, работает каторжно и почти, как и все они, каторжно работающие и нищенски живущие, болеет туберкулезом. Я говорил о том, что эту девушку не стоит загружать хождением на передачи и свидания, а что вот Костя — так от кого же и ждать помощи, как не от него.

Юра к Косте вообще относился весьма скептически, он не любил людей, окончательно выхолощенных от всякого протеста... Мы послали по открытке — Косте и ей.

Как мы ждали первого дня свидания! Как мы ждали этой первой за четыре месяца лазейки в мир, в котором близкие наши то молились уже за упокой душ наших, то мечтали о почти невероятном — о том, что мы все-таки как-то еще живы. Как мы мечтали о первой весточке туда и о первом куске хлеба оттуда!

Когда голодаешь этак по-ленински — долго и всерьез, вопрос о куске хлеба приобретает странное значение. Сидя на тюремном пайке, я както не мог себе представить с достаточной ясностью, что вот лежит передо мной кусок хлеба, а я есть не хочу, и я его не съем. Хлеб занимал командные высоты в психике, унизительные высоты.

В первый же день свиданий в камеру вошел дежурный.

— Кто тут Солоневич?

— Все трое.

Дежурный изумленно воззрился на нас.

— Эка вас расплодилось. А который Борис? На свидание.

Борис вернулся с мешком всяческих продовольственных сокровищ: здесь было фунта три хлебных огрызков, фунтов пять вареного картофеля в мундирах, две брюквы, две луковицы и несколько кусочков селедки. Это было все, что Катя успела наскребать. Денег у нее, как мы ожидали, не было ни копейки, а достать денег по нашим указаниям она еще не сумела.

Но картошка.. Какое это было пиршество! И как весело было при мысли о том, что наша оторванность от мира кончилась, что панихид по нам служить уже не будут. Все-таки по сравнению с могилой и концлагерь — радость.

Но Кости не было.

К следующему свиданию опять пришла Катя.

Бог ее знает, какими путями и под каким предлогом она удрала со службы, наскребла хлеба, картошки и брюквы, стояла полубольная в тюремной очереди. Костя не только не пришел; на телефонный звонок Костя ответил Кате, что он, конечно, очень сожалеет, но что он ничего сделать

не может, так как сегодня же уезжает на дачу. Дача была выдумана плохо: на дворе стоял декабрь.

Потом, лежа на тюремной койке и перебирая в памяти все эти страшные годы, я думал о том, как «тяжкий млат» голода и террора одних закалил, других раздробил, третьи оказались пришибленными, но пришибленными прочно. Как это я раньше не мог понять, что Костя из пришибленных?

Сейчас в тюрьме, видя, как я придавлен этим разочарованием, Юра стал утешать меня, так неуклюже, как это только может делать юноша 18 лет от роду и 180 сантиметров ростом.

— Слушай, Ватик, неужели же тебе и раньше не было ясно, что Костя не придет и ничего не сделает? Ведь это же просто Акакий Акакиевич по ученой части. Ведь он же, Ватик, трус. У него от одного Катиного звонка душа в пятки ушла. А чтобы прийти на свидание — что ты, в самом деле? Он дрожит над каждым своим рублем и над каждым своим шагом. Я, конечно, понимаю, Ватик, — смягчил Юра свою филиппику, — ну, конечно, раньше он, может быть, и был другим, но сейчас...

Да, другим. Многие были иными. Да сейчас, конечно, — Акакий Акакиевич. Роль знаменитой шубы выполняет дочь, хлипкая истеричка двенадцати лет. Да, конечно, революционный ребенок; ни жиров, ни елки, ни витаминов, ни сказок. Пайковый хлеб и политграмота. Оную же политграмоту, надрываясь до тошноты, читает Костя по всяким рабфакам — кому нужна теперь славянская литература. Тощий и шаткий уют на Васильевском острове. Вечная дрожь: справа — уклон, слева — загиб, снизу — голод, а сверху — просто ГПУ... Оппозиционный шепот за закрытой дверью. И вечная дрожь.

Да, можно понять. Как я этого раньше не понял? Можно простить. Но руку трудно подать. Хотя, разве он один, духовно убиенный революцией? Если нет статистики убитых физически, то кто может подсчитать количество убитых духовно, пришибленных, забитых?

Их много. Но, как ни много их, как ни чудовищно давление, есть все-таки люди, которых пришибить не удалось.

ЯВЛЕНИЕ ИОСИФА

Дверь в нашу камеру распахнулась, и в нее ввалилось нечто перегруженное всяческими мешками, весьма небритое и очень знакомое. Но я не сразу поверил глазам своим.

Небритая личность свалила на пол свои мешки и зверски огрызнулась на дежурного:

— Куда же вы меня к чертовой матери пихаете? Ведь здесь ни стать, ни сесть.

Но дверь захлопнулась.

— Вот, сук-к-кины дети! — сказала личность по направлению к двери.

Мои сомнения рассеялись. Невероятно, но факт: это был Иосиф Антонович.

И я говорю этаким для вящего изумления равнодушным тоном:

— Ничего, И. А., как-нибудь поместимся.

И. А. нацелился было молотить каблуком в дверь. Но при моих словах его приподнятая было нога мирно стала на пол.

— Иван Лукьянович! Вот это значит — черт меня раздери. Неужели ты? И Борис? А это, как я имею основание полагать, Юра. — Юру И. А. не видел 15 лет, не мудрено было не узнать.

— Ну, пока там что, давай поцелуемся.

Мы по доброму старому российскому обычаю колем друг друга небритыми щетинами.

— Как ты попал сюда? — спрашиваю я.

— Вот тоже дурацкий вопрос, — огрызается И. А. и на меня. — Как попал? Обыкновенно, как все попадают. Во всяком случае, попал из-за тебя, черт тебя дери... Ну, это ты потом мне расскажешь. Главное — все

живы. Остальное — хрен с ним. Тут у меня полный мешок всякой жратвы. И папиросы есть.

— Знаешь, И. А., мы пока будем есть, а уж ты рассказывай. Я — за тобой.

Мы принимаемся за еду. И. А. закуривает папиросу и, мотаясь по камере, рассказывает:

— Ты знаешь, я уже восемь месяцев в Мурманске. В Питере с начальством разругался вдрызг: они, сукины дети, разворовали больничное белье, а я эту хреновину должен был в бухгалтерии замазывать. Ну, я плюнул им в рожу и ушел. Перебрался в Мурманск. Место замечательно паршивое, но ответственным работникам дают полярный паек, так что в общем жить можно. Да еще в заливе морские окуни водятся — замечательная рыба! Я даже о коньках стал подумывать (И. А. был в свое время первоклассным фигуристом). Словом, живу, работы чертова уйма, и вдруг — ба-бах. Сижу вечером дома, ужинаю, пью водку. Являются: разрешите, говорят, обыск у вас сделать... Ах вы, сукины дети,— еще в вежливость играют. Мы, дескать, не какие-нибудь, мы, дескать, европейцы. «Разрешите». Ну, мне плевать. Что у меня можно найти, кроме пустых бутылок? Вы мне, говорю, водку разрешите допить, пока вы там под кроватями ползать будете... Словом, обшарили все, водку я допил, поволокли меня в ГПУ, а оттуда со спецконвоем — двух идиотов приставили — повезли в Питер. Ну, деньги у меня были, всю дорогу пьянствовали. Я этих идиотов так накачал, что когда мы приехали на Николаевский вокзал, прямо деваться некуда, такой дух, что даже прохожие внюхиваются. Ну, ясно, в ГПУ с таким духом идти нельзя было, мы заскочили на базарчик, пожевали чесноку, я позвонил домой сестре...

— Отчего же вы не сбежали? — снаивничал Юра.

— А какого мне, спрашивается, черта бежать? Куда бежать? И что я такое сделал, чтобы мне бежать? Единственное, что водку пил. Так за это у нас сажать еще не придумали. Наоборот: казне доход и о политике меньше думают. Словом, притащили на Шпалерку и посадили в одиночку. Потом вызывают на допрос — сидит какая-то толстая сволочь.

— Добротин?

— А черт его знает. Может и Добротин. Начинается, как обыкновенно: мы все о вас знаем. Очень, говорю, приятно, что знаете. Только, если знаете, так на какого же черта вы меня посадили? Вы, говорит, обвиняетесь в организации контрреволюционного сообщества. У вас бывали такие-то и такие-то, вели такие-то и такие-то разговоры; знаем решительно все — и кто был, и что говорил. Я уже совсем ничего не понимаю. Водку пьют везде, и разговоры такие везде разговаривают. Если бы за такие разговоры сажали, в Питере давно бы ни одной души живой не осталось. Потом выясняется: и кроме того вы обвиняетесь в пособничестве попытке побега вашего товарища Солоневича.

Тут я понял, что вы влипли. Но откуда такая информация о моем собственном доме? Эта толстая сволочь требует, чтобы я подписал показания и насчет тебя, и насчет всяких других моих знакомых. Я ему говорю, что ни черта подобного я не подпишу, что никакой контрреволюции у меня в доме не было, что тебя я за хвост держать не обязан. Тут этот следователь начинает крыть матом, грозить расстрелом и тыкать мне в лицо револьвером. Ах ты, думаю, сукин сын! Я восемнадцать лет в советской России живу, а он еще думает расстрелом, видите ли, меня запугать. Я, знаешь, с ними очень вежливо говорил. Я ему говорю, пусть он тыкает револьвером в свою жену, а не в меня, потому что я ему вместо револьвера и кулаком могу ткнуть... Хорошо, что он убрал револьвер, а то набил бы я ему морду.

Ну, на этом наш разговор кончился. А через месяца два вызывают и пожалуйста: три года ссылки в Сибирь. Ну, в Сибирь, так в Сибирь, черт с ними. В Сибири тоже водка есть. Но скажи ты мне, ради Бога, И. Л., вот ведь не дурак ты, как же тебя угораздило попасться этим идиотам?

— Почему же идиотам?

И. А. был самого скептического мнения о талантах ГПУ.

— С такими деньгами и возможностями, какие имеет ГПУ, зачем им мозги. Берут тем, что четверть Ленинграда у них в шпиках служит. И если вы эту истину зазубрите у себя на носу, никакое ГПУ вам не страшно. Сажают так, для цифры, для запугивания. А толковому человеку их провести ни шиша не стоит. Ну, так в чем же, собственно, дело?

Я рассказываю, и по мере моего рассказа в лице И. А. появляется выражение чрезвычайного негодования.

— Бабенко! Этот сукин сын, который три года пьянствовал за моим столом и которому я бы ни на копейку не поверил! Ох, какая дура Е. Ведь сколько раз ей говорил, что она дура — не верит. Воображает себя Меттернихом в юбке. Ей тоже три года Сибири дали. Думаешь, поумнеет? Ни черта подобного. Говорил я тебе, И. Л., не связывайся ты в таком деле с бабами. Ну, черт с ним, со всем этим. Главное, что живы, и потом — не падать духом. Ведь вы же все равно сбежите.

— Разумеется, сбежим.

— И опять за границу?

— Разумеется, за границу. А то куда же?

— Но за что же меня, в конце концов, выперли? Ведь не за контрреволюционные разговоры за бутылкой водки?

— Я думаю, за разговоры со следователем.

— Может быть. Не мог же я позволить, чтобы всякая сволочь мне в лицо револьвером тыкала.

— А что, И. А.,— спрашивает Юра,— вы на самом деле дали бы ему в морду?

И. А. ощетинивается на Юру:

— А мне что, по-вашему, оставалось бы делать?

Несмотря на годы неистового пьянства, И. А. остался жилистым, как старая рабочая лошадь, и в морду мог бы дать. Я уверен, что дал бы. А пьянствуют на Руси поистине неистово, особенно в Питере, где кроме водки почти ничего нельзя купить, и где население пьет без просыпу. Так, положим, делается во всем мире: чем глубже нищета и безысходность, тем страшнее пьянство.

— Черт с ним,— еще раз резюмирует нашу беседу И. А.— В Сибирь, так в Сибирь. Хуже не будет. Думаю, что везде одинаково паршиво.

— Во всяком случае,— сказал Борис,— хоть пьянствовать перестанете.

— Ну, это уж извините. Что здесь больше делать порядочному человеку? Воровать? Лизать сталинские пятки? Выслуживаться перед всякой сволочью? Нет, уж я лучше просто буду честно пьянствовать. Лет на пять меня хватит, а там — крышка. Все равно, вы ведь должны понимать, Б. Л., жизни нет. Будь мне тридцать лет — ну, туда-сюда. А мне пятьдесят. Что ж, семьей обзаводиться? Плодить мясо для сталинских экспериментов? Ведь только приедешь домой, сядешь за бутылку, так по крайней мере всего этого кабака не видишь и не вспоминаешь. Бежать с вами? Что я там буду делать? Нет, Б. Л., самый простой выход — это просто пить.

В числе остальных видов внутренней эмиграции есть и такой, пожалуй, наиболее популярный: уход в пьянство. Хлеба нет, но водка есть везде. В нашей, например, Салтыковке, где жителей тысяч десять, хлеб можно купить только в одной лавчонке, а водка продается в шестнадцати, в том числе и в киосках того типа, в которых при «проклятом царском режиме» торговали газированной водой. Водка дешева. Бутылка водки стоит столько же, сколько стоит два кило хлеба, да и в очереди стоять не нужно. Пьют везде. Пьет молодняк, пьют девушки, не пьет только мужик, у которого денег уж совсем нет.

Конечно, никакой статистики алкоголизма в советской России не существует. По моим наблюдениям, больше всего пьют в Петрограде, и больше всего пьет средняя интеллигенция и рабочий молодняк. Уходят в пьянство от принудительной общественности, от казенного энтузиазма, от каторжной работы, от бесперспективности, от всяческого гнета, от всяческой тоски по человеческой жизни и от реальностей жизни советской.

Не все. Конечно, не все. Но по какому-то таинственному и уже тра-

диционному русскому заскоку в пьяную эмиграцию уходит очень ценная часть людей. Те, кто, как Есенин, не смог «задрав штаны, бежать за комсомолом». Впрочем, комсомол указывает путь и здесь.

Через несколько дней пришли забрать И. А. на этап.

— Никуда я не пойду,— заявил И. А.— У меня сегодня свидание.

— Какие тут свидания! — заорал дежурный.— Сказано, на этап. Собирай вещи!

— Собирайте сами. А мне вещи должны передать на свидании. Не могу я в таких ботинках зимой в Сибирь ехать.

— Ничего не знаю. Говорю, собирайте вещи, а то вас силой выведут.

— Идите вы к чертовой матери,— вразумительно сказал И. А.

Дежурный исчез и через некоторое время явился с другим каким-то чином повыше.

— Вы что позволяете себе нарушать тюремные правила? — стал орать чин.

— А вы не орите,— сказал И. А. и жестом опытного фигуриста поднес к лицу чина свою ногу в старом продранном полуботинке.— Ну, видите? Куда я к черту без подошв в Сибирь поеду?

— Плевать мне на ваши подошвы. Приказываю вам немедленно собирать вещи и идти.

Небритая щетина на верхней губе И. А. грозно стала дыбом.

— Идите к чертовой матери,— сказал И. А., усаживаясь на койку.— И позовите кого-нибудь поумнее.

Чин постоял в некоторой нерешительности и ушел, сказав угрожающе:

— Ну, сейчас мы вами займемся...

— Знаешь, И. А.,— сказал я,— как бы тебе в самом деле не влетело за твою ругань.

— Хрен с ними. Эта сволочь тащит меня за здорово живешь куда-то к чертовой матери, таскает по тюрьмам, а я еще перед ним расшаркиваться буду. Пусть попробуют. Не всем, а уж кому-то морду набью.

Через полчаса пришел какой-то новый надзиратель.

— Гражданин А., на свидание.

И. А. уехал в Сибирь в полном походном обмундировании.

ЭТАП

Каждую неделю ленинградские тюрьмы отправляют по два этапных эшелона в концлагеря. Но так как тюрьмы переполнены свыше всякой меры, ждать очередного этапа приходится довольно долго. Мы ждали больше месяца.

Наконец отправляют и нас. В полутемных коридорах тюрьмы снова выстраиваются длинные шеренги будущих лагерников, идет скрупулезный, бесконечный и в сущности никому не нужный обыск. Раздевают до нитки. Мы долго мерзнем на каменных плитах коридора. Потом нас усаживают на грузовики. На их бортах — конвойные красноармейцы с наганами в руках. Предупреждение: при малейшей попытке к бегству — пуля в спину без всяких разговоров.

Раскрываются тюремные ворота, и за ними целая толпа, почти исключительно женская, человек пятьсот.

Толпа раздается перед грузовиком, и из нее сразу взрывом несутся сотни криков, приветствий, прощаний, имен. Все это превращается в какой-то сплошной нечленораздельный вопль человеческого горя, в котором тонут отдельные слова и отдельные голоса. Все это — русские женщины, изможенные и истощенные, пришедшие и встречать, и провожать своих мужей, братьев, сыновей.

Вот где поистине «долюшка русская, долюшка женская»... Сколько женского горя, бессонных ночей, невидимых миру лишений стоит за спиной каждой мужской судьбы, попавшей в зубцы ГПУской машины. Вот и эти женщины. Я знаю — они неделями бегали к воротам тюрьмы, чтобы узнать день отправления их близких. И сегодня они стоят здесь, на январском морозе с самого рассвета; на этап идет около сорока грузовиков, погрузка началась с рассвета и кончится поздно вечером. И они будут стоять здесь целый день только для того, чтобы бросить мимолетный прощальный взгляд на родное лицо. Да и лица-то этого, пожалуй, не увидят: мы сидим, точнее валяемся, на дне грузовика и заслонены спинами чекистов, сидящих на бортах.

Сколько десятков и сотен тысяч сестер, жен, матерей вот так бьются о тюремные ворота, стоят в бесконечных очередях с «передачами», сэкономленными за счет самого жестокого недоедания! Потом, отрывая от себя последний кусок хлеба, они будут слать эти передачи куда-нибудь за Урал, в карельские леса, в приполярную тундру. Сколько загублено женских жизней вот так, мимоходом прихваченных чекистской машиной.

Грузовик еще на медленном ходу. Толпа, отхлынувшая было от него, опять смыкается почти у самых колес. Грузовик набирает ход. Женщины бегут рядом с ним, выкрикивая разные имена. Какая-то девушка, растрепанная и заплаканная, долго бежит рядом с машиной, шатаясь, словно пьяная, и каждую секунду рискуя попасть под колеса.

— Миша, Миша, родной мой, Миша!..

Конвоиры орут, потрясая своими наганами:

— Сиди на месте! Сиди, стрелять буду!

Сколько грузовиков уже прошло мимо этой девушки и сколько еще пройдет. Она нелепо пытается схватиться за борт грузовика, один из конвоиров перебрасывает ногу через борт и отталкивает девушку. Она падает и исчезает за бегущей толпой.

Как хорошо, что нас никто здесь не встречает. И как хорошо, что этого Миши с нами нет. Каково было бы ему видеть свою любимую, сбитую на мостовую ударом чекистского сапога... И остаться бессильным.

Машины ревут. Люди шарахаются в стороны. Все движение на улицах останавливается перед этой похоронной процессией грузовиков. Мы проносимся по улицам «красной столицы» каким-то многоликим олицетворением memento mori, каким-то жутким напоминанием каждому, кто еще ходит по тротуарам: сегодня — я, а завтра — ты.

Мы въезжаем на задворки Николаевского вокзала. Эти задворки, по-видимому, специально приспособлены для чекистских погрузочных операций. Большая площадь обнесена колючей проволокой. На углах бревенчатые вышки с пулеметами. У платформы бесконечный товарный состав — это наш эшелон, в котором нам придется ехать Бог знает куда и Бог знает сколько времени.

Эти погрузочные операции как будто должны бы стать привычными и налаженными. Но вместо налаженности — крик, ругань, сутолока, бестолковщина. Нас долго перегоняют от вагона к вагону. Все уже заполнено до отказа, даже по нормам чекистских этапов; конвоиры орут, урки ругаются, мужики стонут. Так, тыкаясь от вагона к вагону, мы, наконец, попадаем в какую-то совсем пустую теплушку и врываемся в нее оголтелой и озлобленной толпой.

Теплушка официально рассчитана на 40 человек, но в нее напихивают и 60, и 70. В нашу, как потом выяснилось, было напихано 58. Мы не знаем, куда нас везут и сколько времени придется ехать. Если на Урал, нужно рассчитывать на месяц, а то и на два. Понятно, что при таких условиях места на нарах — а их на всех, конечно, не хватит — сразу становятся объектом жестокой борьбы.

Дверь вагона с треском захлопывается, и мы остаемся в полутьме. С правой по ходу поезда стороны оба люка забиты наглухо. Оба левых — за толстыми железными решетками. Кажется, что вся эта полутьма от пола до потолка битком набита людьми, мешками, сумками, тряпьем, дикой руганью и дракой. Люди атакуют нары, отталкивая ногами менее удачливых претендентов, в воздухе мелькают тела, слышатся мат, звон жестяных чайников, грохот падающих вещей.

Все атакуют верхние нары, где теплее, светлее и чище. Нам как-то удается протиснуться сквозь живой водопад тел на средние нары. Там хуже, чем наверху, но все же безмерно лучше, чем остаться на полу посреди не вагона.

Через час это столпотворение как-то утихает. Сквозь многочисленные дыры в стенах и в потолке видно, как пробирается в теплушку свет, как январский ветер наметает на полу узенькие полоски снега. Становится зябко при одной мысли о том, как в эти дыры будет дуть ветер на ходу поезда. Посредине теплушки стоит печурка, изъеденная всеми язвами гражданской войны, военного коммунизма, мешочничества и Бог знает чего еще.

Мы стоим на путях Николаевского вокзала почти целые сутки. Ни дров, ни воды, ни еды нам не дают. От голода, холода и усталости вагон постепенно затихает.

Ночь. Лязг буферов... Поехали...

Мы лежим на нарах, плотно прижавшись друг к другу. Повернуться нельзя, ибо люди на нарах уложены так же плотно, как дощечки на паркете. Заснуть тоже нельзя. Я чувствую, как холод постепенно пробирается куда-то внутрь организма, как коченеют ноги и застывает мозг. Юра дрожит мелкой частой дрожью, старается удержать ее и опять начинает дрожать.

— Юрчик, замерзаешь?

— Нет, Ватик, ничего.

Так проходит ночь.

К полудню на какой-то станции нам дали дров — немного и сырых. Теплушка наполнилась едким дымом, тепла прибавилось мало, но стало как-то веселее. Я начинаю разглядывать своих сотоварищей по этапу.

Большинство — это крестьяне. Они одеты во что попало, как их захватил арест. С мужиком вообще стесняются очень мало. Его арестовывают на полевых работах, сейчас же переводят в какую-нибудь уездную тюрьму, по сравнению с которой Шпалерка — это дворец. Там, в этих уездных тюрьмах, в одиночных камерах сидят по 10—15 человек, там действительно негде ни стать, ни сесть, и люди сидят и спят по очереди. Там в день дают 200 граммов хлеба, и мужики, не имеющие возможности получать передачи (деревня далеко, да и там нечего есть), если и выходят оттуда живыми, то выходят совсем уж привидениями.

Наши этапные мужички тоже больше похожи на привидения. В звериной борьбе за места на нарах у них не хватило сил, и они заползли на пол, под нижние нары, расположились у дверных щелей. Зеленые, ободранные, они робко, взглядами загнанных лошадей посматривают на более сильных и более оборотистых горожан.

«В столицах шум, гремят витии»... Столичный шум и столичные расстрелы дают мировой резонанс. О травле интеллигенции пишет вся мировая печать. Но какая в сущности это ерунда, какая мелочь эта травля интеллигенции. Ни помещики, ни фабриканты, ни профессора оплачивают в основном эти страшные «издержки революции», их оплачивает мужик. Это он, мужик, дохнет миллионами и десятками миллионов от голода, тифа, концлагерей, коллективизации и закона о «священной социалистической собственности», от всяких великих и малых строек Советского Союза, от всех этих сталинских хеопсовых пирамид, построенных на его мужицких костях. Да, конечно, интеллигенции очень туго. Да, конечно, очень туго было бы и в тюрьме, и в лагере, например, мне. Значительно хуже большинству интеллигенции. Но в какое сравнение могут идти наши страдания и наши лишения со страданиями и лишениями русского крестьянства и не только русского, а и грузинского, татарского, киргизского и всякого другого. Ведь вот, как ни отвратительно мне, как ни голодно, ни холодно каким бы опасностям я ни подвергался еще, со мною считались в тюрьме и будут считаться в лагере. Я имею тысячи возможностей выкручиваться — возможностей, совершенно не доступных крестьянину. С крестьянином не считаются вовсе, и никаких возможностей выкручиваться у него нет. Меня плохо ли, хорошо ли, но все же судят. Крестьянина и расстреливают, и ссылают или вовсе без суда, или по такому суду, о котором и говорить трудно; я видал такие «суды». Тройка безграмотных и пьяных комсомольцев засуживает семью, в течение двух-трех часов ее разоряют вконец и ликвидируют под корень. Я, наконец, сижу не зря. Да, я враг

советской власти, я всегда был ее врагом, и никаких иллюзий ГПУ на этот счет не питало. Но я был нужен, в некотором роде «незаменим», и меня кормили, и со мной разговаривали. Интеллигенцию кормят и с интеллигенцией разговаривают. И если интеллигенция садится в лагерь, то только в исключительных случаях «массовых кампаний» она садится за здорово живешь.

Я знаю, что эта точка зрения идет совсем вразрез с установившимися мнениями о судьбах интеллигенции в СССР. Об этих судьбах я когда-нибудь буду говорить подробнее, но все то, что я видел в СССР, — а видел я много вещей, — создало у меня твердое убеждение: лишь в редких случаях интеллигенцию сажают зазря, конечно, с советской точки зрения. Она все-таки нужна. Ее все-таки судят. Мужика — много, им хоть пруд пруди, и он совершенно реально находится в положении во много раз худшем, чем он был в самые худшие, в самые мрачные времена крепостного права. Он абсолютно бесправен, так же бесправен, как любой раб какого-нибудь африканского царька, так же нищ, как этот раб, ибо у него нет решительно ничего, чего любой деревенский помпадур не мог бы отобрать в любую секунду, у него нет решительно никаких перспектив и решительно никакой возможности выкарабкаться из этого рабства и этой нищеты.

Положение интеллигенции? Ерунда — положение интеллигенции по сравнению с этим океаном буквально неизмеримых страданий многомиллионного и действительно многострадального русского мужика. И перед лицом этого океана как-то неловко, как-то язык не поворачивается говорить о себе, о своих лишениях: все это булавочные уколы. А мужика бьют по черепу дубьем.

И вот, сидит «сеятель и хранитель» великой русской земли у щели вагонной двери. Январская вьюга уже намела сквозь эту щель сугробик снега на его обутую в рваный лапоть ногу. Руки зябко запрятаны в рукава какой-то лоскутной шинелишки времен мировой войны. Мертвецки посиневшее лицо уставилось на прыгающий огонь печурки. Он весь скомкался, съежился, как бы стараясь стать меньше, незаметнее, вовсе исчезнуть так, чтобы его никто не увидел, не ограбил, не убил.

И вот, едет он на какую-то очередную «великую» сталинскую стройку. Ничего строить он не может, ибо сил у него нет. В 1930—1931 годах такого этапного мужика на Беломорско-Балтийском канале прямо ставили на работы, и он погибал десятками тысяч, так что на строительном фронте «пополнений» оказывались сплошные дыры. Санчасть ББК догадалась: прибывших с этапами крестьян раньше, чем посылать на обычные работы, ставили на более или менее «усиленное» питание. И тогда люди гибли от того, что отощавшие желудки не в состоянии были переваривать нормальную пищу. Сейчас их оставляют на две недели в «карантине», постепенно втягивая и в работу, и в то голодное лагерное питание, которое мужику и на воле не было доступно и которое является лукулловым пиршеством с точки зрения провинциального тюремного пайка. Лагерь — все-таки хозяйственная организация, и в своем рабочем скоте он все-таки заинтересован. Но в чем заинтересован редко грамотный и еще реже трезвый деревенский комсомолец, которому на потоп и на разграбление отдано все крестьянство и который и сам-то окончательно очумел от всех вихляний «генеральной линии», от дикого, кабацкого административного восторга бесчисленных провинциальных властей?

ВЕЛИКОЕ ПЛЕМЯ «УРОК»

Нас, интеллигенции, на весь вагон всего пять человек: нас трое, наш горе-романист Степушка, попавший в один с нами грузовик, и еще какой-то ленинградский техник. Мы все приспособились вместе на средних нарах. Над нами группа питерских рабочих; их нам не видно. Другую половину вагона занимают еще десятка два рабочих; они сытее и лучше одеты, чем крестьяне, или, говоря точнее, менее голодны и менее оборваны. Все они спят.

Плотно сбитой стаей сидят у печурки уголовники. Они не то чтобы

оборваны, они просто полураздеты, но их выручает невероятная, волчья выносливость бывших беспризорников. Все они — результат жесточайшего естественного отбора. Все, кто не мог выдержать поездок под вагонными осями, ночевок в кучах каменного угля, пропитания из мусорных ям (советских мусорных ям!) — все они погибли. Остались только самые крепкие, по-волчьи выносливые, по-волчьи ненавидящие весь мир — мир, выгнавший их детьми на большие дороги голода, на волчью борьбу за жизнь.

Тепло от печки добирается, наконец, и до меня, и я начинаю дремать. Просыпаюсь от дикого крика и вижу: прислонившись спиной к стенке вагона, бледный, стоит наш техник и тянет к себе какой-то мешок. За другой конец мешка уцепился один из урок, плюгавый парнишка с глазами попавшего в карман хорька. Борис тоже держится за мешок. Схема ясна: урка спер мешок, техник огнимает, урка не дает, в расчете на помощь «своих». Борис пытается что-то урегулировать. Он что-то говорит, но в общем гвалте и ругани ни одного слова нельзя разобрать. Мелькают кулаки, поленья и даже ножи. Мы с Юрой пулей выкидываемся на помощь Борису. Мы втроем представляем «боевую силу», с которой приходится считаться и уркам — даже и всей их стае, взятой вместе. Однако плюгавый парнишка цепко и с каким-то отчаянием в глазах держится за мешок, пока откуда-то не раздается спокойный и властный голос:

— Пусти мешок...

Парнишка отпускает мешок и уходит в сторону, утирая нос, но все же с видом исполненного долга.

Спокойный голос продолжает:

— Ничего, другой раз возьмем так, что и слыхать не будете.

Оглядываюсь. Высокий, иссиня бледный, испитой и, видимо, «пахан» много и сильно на своем веку битый урка. Очевидно пахан — коновод и вождь уголовной стаи. Он продолжает, обращаясь к Борису

— А вы чего лезете? Не ваш мешок — не ваше дело. А то так и нож ночью можем всунуть. У нас, брат, ни на каких обысках ножей не отберут.

В самом деле, какой-то нож фигурировал под свалкой.

Каким путем урки ухитряются фабриковать и проносить свои ножи сквозь все тюрьмы и сквозь все обыски, Аллах их знает, но фабрикуют и проносят. И я понимаю: вот в такой людской толчее, откуда-то из-за спин и мешков ткнут ножом в бок и пойди доискивайся.

Рабочие сверху сохраняют полный нейтралитет: они-то по своему городскому опыту знают, что значит становиться урочьей стае поперек дороги. Крестьяне что-то робко и приглушенно ворчат по своим углам. Остаемся мы четверо — Степушка не в счет -- против 15 урок, готовых на все и ничем не рискующих. В этом каторжном вагоне мы, как на необитаемом острове. Закон остался где-то за дверьми теплушки, закон в лице какого-то конвойного начальника, заинтересованного лишь в том, чтобы мы не сбежали и не передохли в количествах, превышающих некий «нормальный» процент. А что тут кто-то кого-то зарежет — кому какое дело.

Борис поворачивается к пахану:

— Вот тут нас трое: я, брат и его сын. Если кого-нибудь ткнут ножом, отвечать будете вы.

Урка делает наглое лицо человека, перед которым ляпнули вопиющий вздор. И потом разражается хохотом.

— Ого-го! Отвечать! Перед самим Сталиным... Вот это здорово... Отвечать! Мы тебе, брат, кишки и без ответа выпустим...

Стая урок подхватывает хохот своего пахана. И я понимаю, что разговор об ответственности, о законной ответственности на этом каторжном робинзоновском острове — пустой разговор. Урки понимают это еще лучше, чем я. Пахан продолжает и тычет Борису в нос сложенные в традиционную эмблему три своих грязных посиневших пальца. Рука пахана сразу попадает в Бобины тиски. Ржанье переходит в вой. Пахан пытается вырвать руку, но это дело совсем безнадежное. Кто-то из урок срывается на помощь своему вождю, но Бобин тыл прикрываем мы с Юрой, и все остаются на своих местах.

— Пусти, — тихо и сдающимся тоном говорит пахан. Борис выпускает руку пахана. Тот корчится от боли, держится за руку и смотрит на Бориса глазами, преисполненными боли, злобы и... почтения.

Да, конечно, мы не в девятнадцатом веке. Ну, что ж. На нашей полдюжины кулаков, кулаков основательных, тоже можно какое-то право основать.

— Видите ли, товарищ... как ваша фамилия? — возможно спокойнее начинаю я.

— Иди ты к черту с фамилией, — отвечает пахан.

— Михайлов, — раздается откуда-то со стороны.

— Так видите ли, товарищ Михайлов, — говорю я чрезвычайно академическим тоном. — Когда мой брат говорил об ответственности, то это, понятно, вовсе не в том смысле, что кто-то там куда-то пойдет жаловаться. Ничего подобного. Но если кого-нибудь из нас троих подколют, то оставшиеся просто переломают вам кости. И переломают всерьез. И именно вам. Так что и для вас, и для нас будет спокойнее такими делами не заниматься.

Урка молчит. Он по уже испытанному ощущению Бобиной длани понял, что кости будут переломаны всерьез.

Если бы не семейная спаянность нашей «стаи» и не наши кулаки, то спаянная своей солидарностью стая урок раздела и ограбила нас до нитки. Так делается всегда -- в общих камерах, на этапах, отчасти и в лагерях, где всякой случайной и разрозненной публике, попавшей в пещеры ГПУ, противостоит спаянная и классово-солидарная стая урок. У них есть своя организация, и эта организация давит и грабит. Впрочем, такая же организация существует и на воле. Там она давит и грабит всю страну.

ДИСКУССИЯ

Часа через полтора я сижу у печки. Пахан подходит ко мне.

— Ну и здоровый же бугай ваш брат. Чуть руку не сломал. И сейчас еще еле шевелится. Оставьте мне, товарищ Солоневич, бычка — страсть курить хочется.

Я принимаю оливковую ветвь мира и достаю свой кисет. Урка крутит козью ножку и сладострастно затягивается.

— Тоже надо понимать, товарищ Солоневич, собачье наше житье.

— Так чего же вы его не бросите?

— А как его бросить? Все мы — беспризорная шатия От маминой цицки да прямо в беспризорники. Я, прямо говоря, с самого малолетства вор, так вором и помру. А этого супчика, техника-то, мы все равно обработаем. Не здесь, так в лагере. Сволочь. У него одного хлеба с пуд будет. Просили по-хорошему: дай хоть кусок. Так он как собака лается.

— Вот еще вас, сволочей, кормить, — раздается с рабочей полки чей-то внушительный бас.

Урка подымает голову.

— Да вот, хоть и с неохотой, да кормите же. Так ты думаешь, я хуже тебя ем?

— Я ни у кого не прошу.

— И я не прошу. Я сам беру.

— Ну, вот и сидишь здесь.

— А ты где сидишь? У себя на квартире?

Рабочий замолкает. Другой голос с той же полки подхватывает тему

— Воруют с трудящего человека последнее, а потом еще и корми их. Мало вас, сволочей, сажают.

— Нас действительно мало сажают, — спокойно парирует урка. — Вот вас много сажают. Ты, небось, лет на десять едешь, а я на три года. Ты на советскую власть на воле спину гнул за два фунта хлеба и в лагере за те же два фунта будешь гнуть. И подохнешь там к чертовой матери.

— Ну, это еще кто скорее подохнет.

— Ты подохнешь, — уверенно сказал урка. — Я, как весна — и ищи ветра в поле. А тебе куда податься? Подохнешь.

На рабочих нарах замолчали, подавленные аргументацией урки.

— Таким прямо головы проламывать, — изрек наш техник. У урки от злости и презрения перекосилось лицо.

— Эх ты, в рот плеванный. Это ты-то, черт моржовый, проламывать будешь? Ты смотри, сукин сын, на нос себе накрути. Это здесь мы просим, а ты куражишься, а в лагере ты у меня будешь на брюхе ползать, сукин ты сын. Там тебе в два счета кишки вывернут. Ты там, брат, за чужим кулаком не спрячешься. Вот этот, — урка кивнул в мою сторону, — этот может проломать. А ты... Эх ты, дерьмо вшивое.

— Нет, таких... да таких советская власть расстреливать должна. Прямо расстреливать. Везде воруют, везде грабят! — это, оказывается, вынырнул из-под нар Степушка. Его основательно ограбили урки в пересылке, и он предвидел еще массу огорчений в том же стиле. У него дрожали руки, и он брызгал слюной.

— Нет, я не понимаю. Как же это так? Везут в одном вагоне. Полная безнаказанность. Что хотят, то и делают.

Урка смотрит на него с пренебрежительным удивлением.

— А вы, тихий господинчик, лежали бы на своем местечке и писали бы свои показания. Не трогают вас, так и лежите. А вот часишки вы в пересылке обратно получили, так вы будьте спокойны — мы их возьмем.

Степушка судорожно схватился за карман с часами. Урки захохотали.

— Это из нашей компании, — сказал я, — так что на счет часиков уж вы не троньте.

— Все равно. Не мы, так другие. Не здесь, так в лагере. Господинчик-то ваш больно уж хреновый. Покаяния все писал. Знаю, наши с ним сидели.

— Не ваше дело, что я писал. Я на вас заявление подам.

Степушка нервничал, трусил и глупил. Я ему подмигивал, но он ничего не замечал.

— Вы, господинчик хреновый, слушайте, что я вам скажу. Я у вас пока ничего не украл, а украду — поможет вам заявление, как мертвому кадило.

— Нет, в лагере вас прикрутят, — сказал техник.

— С дураками, видно, твоя мамаша спала, что ты таким умным родился. В лагере. Эх ты, моржовая голова! Да что ты о лагере знаешь? Бывал ли ты в лагере? Я вот уже пятый раз еду, а ты мне о лагере рассказываешь.

— А что в лагере? — спросил я.

— Что в лагере? Первое дело вот, скажем, вы или этот господинчик — вы, ясное дело, контрреволюционеры. Вот та дубина, что наверху, — урка кивнул в сторону рабочих нар, — тот или вредитель или контрреволюционер. Ну, мужик — он всегда кулак. Это так надо понимать, что все вы классовые враги, ну, и обращение с вами подходящее. А мы, урки, — социально близкий элемент. Вот так. Поэтому мы, елки-палки, против собственности.

— И против социалистической? — спросил я.

— Э, нет. Казенное не трогаем. На грош возьмешь — на рубль ответу. Да еще в милиции бьют. Зачем? Вот тут наши одно время на торгсин было насели. Нестоящее дело. А так просто фраера, вот вроде этого господинчика. Во-первых, раз плюнуть. А второе — куда он пойдет? Заявления писать будет? Так уж будьте покойнички, с милицией я лучше сговорюсь, чем этот ваш шибздик. А в лагере и подавно. Уж там скажут тебе сними пинжак, так и снимай без разговоров, а то еще нож получишь.

Урка явно хвастался, но урка врал не совсем. Степушка, иссякнув, растерянно посмотрел на меня. Да, Степушке придется плохо: ни выдержки, ни изворотливости, ни кулаков. Пропадет.

ЛИКВИДИРОВАННАЯ БЕСПРИЗОРНОСТЬ

В книге советского бытия, трудно читаемой вообще, есть страницы, не доступные даже очень близко стоящему и очень внимательному наблюдателю. Поэтому всякие попытки «познания России» всегда имеют эта-

кую прелесть неожиданности. Правда, прелесть эта несколько вывернута наизнанку, но неожиданности обычно ошарашивают своей парадоксальностью. Ну, разве не парадокс, что украинскому мужику в лагере живется лучше, чем на воле, и что он из лагеря на волю шлет хлебные сухари? И как это совместишь с тем фактом, что этот мужик в лагере вымирает десятками и сотнями тысяч в масштабе ББК? А вот в российской сумятице это совмещается: на Украине крестьяне вымирают в большей пропорции, чем в лагере, и я реально видал крестьян, собирающих всякие объедки для посылки их на Украину. Значит ли это, что эти крестьяне в лагере не голодали? Нет, не значит. Но за счет еще большего голодания они спасали свои семьи от голодной смерти. Этот парадокс цепляется еще за один: за необычайное укрепление семьи, какое не снилось даже и покойному В. В. Розанову. А от укрепления семьи возникает еще одна неожиданность — принудительное безбрачие комсомолок: никто замуж не берет, ни партийцы, ни беспартийные, так и торчи всю свою жизнь какой-нибудь месткомовской девой.

Много есть таких неожиданностей. Я однажды видал даже образцовый колхоз. Его председателем был старый трактирщик. Но есть вещи, о которых вообще ничего нельзя узнать. Что мы, например, знаем о таких явлениях социальной гигиены в советской России, как проституция, алкоголизм, самоубийства? Что знал я до лагеря о «ликвидации детской беспризорности»? Я, исколесивший всю Россию!

Я видал, что Москва, Петроград, крупнейшие магистрали «подчищены» от беспризорников, но я знал и то, что эпоха коллективизации и голод последних лет дали новый резкий толчок беспризорности. Но только здесь в лагере я узнал, куда девается и как «ликвидируется» беспризорность всех призывов — и эпохи военного коммунизма, тифов, гражданской войны и эпохи ликвидации кулачества, как класса, эпохи коллективизации и просто голода, стоящего вне «эпох» и образующего общий более или менее постоянный фон советской жизни.

Так, почти ничего я не знал о великом племени урок, населяющем широкие подполья социалистической страны. Раза два меня обворовывали, но не очень сильно. Обворовывали моих знакомых, иногда очень сильно, а два раза даже с убийством. Потом еще Утесов пел свои блатные песенки:

С вапнярского кичмана
Сорвались два уркана,
Сорвались два уркана на Одессу

Вот примерно и все. Так иногда говорилось, что миллионная армия беспризорников подросла и орудует где-то по тылам социалистического строительства. Но так как об убийствах и грабежах советская пресса не пишет ничего, то данное «социальное явление» для вас существует лишь поскольку вы с ним сталкиваетесь лично. Вне вашего личного горизонта вы не видите ни краж, ни самоубийств, ни убийств, ни алкоголизма, ни даже концлагерей, поскольку туда не сели вы или ваши родные. И, наконец, так много и так долго грабили и убивали, что и кошелек, и жизнь давно перестали волновать.

И вот передо мною, покуривая мою махорку и густо сплевывая на раскаленную печку, сидит представитель вновь открываемого мною мира — мира профессиональных бандитов, выросшего и вырастающего из великой детской беспризорности. На нем, на этом «представителе», только рваный пиджачишко (рубашка была пропита в тюрьме, как он мне объяснил), причем, пиджачишко этот еще недавно был, видимо, достаточно шикарным. От печки пышет жаром, в спину сквозь щели вагона дует ледяной январский ветер, но урке и на жару, и на холод наплевать.

Еще с десяток урок, таких же, не то что оборванных, а просто полуодетых, валяются на дырявом промерзлом полу около печки, лениво подбрасывают в нее дрова, курят мою махорку и снабжают меня информацией о лагере, пересыпанной совершенно несусветным сквернословием. Что боцманы доброго старого времени! Грудные ребята эти боцманы с их «морскими терминами» по сравнению с самым желторотым уркой.

Нужно сказать честно, что никогда я не затрачивал свой капитал с

такой сумасшедшей прибылью, с какой я затратил червонец, прокуренный урками в эту ночь. Мужики где-то под нарами сбились в кучу, зарывшись в свои лохмотья. Рабочий класс храпит наверху. Я выспался днем. Урки не спят вторые сутки и не видно, чтобы их тянуло ко сну. И передо мною разворачивается «учебный фильм» из лагерного быта со всей беспощадностью лагерного житья, со всем лагерным «блатом», административной структурой, расстрелами, «зачетами», «довесками», пайками, жульничеством, грабежами, охраной, тюрьмами и прочим, и прочим. Борис, отмахиваясь от клубов махорки, проводит параллели между Соловками, в которых он просидел три года, и современным лагерем, где ему предстоит просидеть.., вероятно, очень немного. На полупонятном мне блатном жаргоне рассказываются бесконечные воровские истории, пересыпаемые необычайно вонючими непристойностями.

— А вот в Киеве под самый новый год — вот была история,— начинает какой-нибудь урка лет семнадцати.— Сунулся я в квартиру одну. Замок пустяковый был. Гляжу — комнатенка. В комнатенке — канапа. А на канапе — узелок с пальтом. Хорошее пальто, буржуйское. Ну, дело было днем, много не заберешь. Я за узелок и — ходу. Иду. А в узелке что-то шевелится. Как я погляжу, а там ребеночек. Спит, сукин сын. Смотрю кругом — никого нет. Я это пальто на себя, а ребеночка под забор, в кусты, под снег.

— А как же ребенок-то? — спрашивает Борис.

Столь наивный вопрос урке, видимо, и в голову не приходил

Финки, фимки, «всадил», «кишки выпустил», малина, «шалманы», редкая по жестокости и изобретательности месть, поджоги, проститутки, пьянство, кокаинизм, морфинизм... Вот она, эта «ликвидированная беспризорность». Вот она, эта армия, оперирующая в тылах социалистического фронта «от финских хладных скал до пламенной Колхиды».

Из всех человеческих чувств у них, видимо, осталось только одно — солидарность волчьей стаи, с детства выкинутой из всякого человеческого общества. Едва ли какая-либо другая эпоха может похвастаться наличием миллионной армии людей, оторванных от всякой социальной базы, лишенных всякого социального чувства, всякой морали.

Значительно позже в лагере я пытался подсчитать, какова же, хоть приблизительно, численность этой армии или, по крайней мере, той ее части, которая находится в лагерях. В ББК их было около 15 процентов. Если взять такое же процентное отношение для всего лагерного населения советской России, получится что-то от 750 000 до 1 500 000 — конечно, цифра, как говорят в СССР, сугубо ориентировочная. А сколько этих людей оперует на воле? Не знаю.

И что станет с этой армией делать будущая Россия? Тоже не знаю.

ЭТАП, КАК ТАКОВОЙ

Помимо жестокостей планомерных, так сказать «классово-целеустремленных», советская страна захлебывается еще от дикого потока жестокостей совершенно бесцельных, никому не нужных, никуда не устремленных. Растут они, эти жестокости, из того несусветного советского кабака, зигзаги которого предусмотреть вообще невозможно, который, наряду с самой суровой ответственностью по закону, создает полнейшую безответственность на практике, наряду с официальной плановостью организует полнейший хаос, наряду со статистикой — абсолютную неразбериху. Я совершенно уверен в том, что реальной величины, например, посевной площади в России не знает никто — не знает этого ни Сталин, ни Политбюро, ни ЦСУ, вообще никто не знает, ибо уже и низовая колхозная цифра рождается в колхозном кабаке, проходит кабаки уездного, областного и республиканского масштабов и теряет всякое соответствие с реальностью. Что уж там с нею сделают в московском кабаке — это дело шестнадцатое. В Москве в большинстве случаев цифры не суммируются, а высасываются.

С цифровым кабаком, который оплачивается человеческими жизнями, мне потом пришлось встретиться в лагере. По дороге же в лагерь свирепствовал кабак просто, без статистики и без всякого смысла.

Само собой разумеется, что для ГПУ не было решительно никакого расчета, отправляя рабочую силу в лагеря, обставлять перевозку эту так, чтобы эта рабочая сила прибывала на место работы в состоянии крайнего истощения. Практически же дело обстояло именно так.

По положению этапники должны были получать в дороге по 600 граммов хлеба в день, сколько-то граммов селедки, по куску сахару и кипяток. Горячей пищи не полагалось вовсе, и зимой при длительных — неделями и месяцами — переездах и в слишком плохо отапливаемых и слишком хорошо «вентилирусмых» теплушках люди несли огромные потери и больными, и умершими, и просто страшным ослаблением тех, кому удалось не помереть. Допустим, что общие для всей страны «продовольственные затруднения» лимитировали количество и качество пищи помимо, так сказать, доброй воли ГПУ. Но почему нас морили жаждой?

Нам выдавали хлеб и селедку сразу на 4—5 дней. Сахару не давали, но Бог уж с ним. Но вот, когда после двух суток селедочного питания нам в течение двух суток не дали ни капли воды, это было совсем плохо. И совсем глупо.

Первые сутки было плохо, но все же не очень мучительно. На вторые сутки мы стали уже собирать снег с крыши вагона: сквозь решетку люка можно было протянуть руку и пошарить ею по крыше. Потом стали собирать снег, который ветер наметал на полу сквозь щели вагона, но понятно, для 58 человек этого немножко не хватало.

Муки жажды обычно описываются в комбинации с жарой, песками пустыни или солнцем Тихого океана. Но я думаю, что комбинация холода и жажды была намного хуже.

На третьи сутки, на рассвете, кто-то в вагоне крикнул:

— Воду раздают!

Люди бросились к дверям, кто с кружкой, кто с чайником. Стали прислушиваться к звукам отодвигаемых дверей соседних вагонов, ловили приближающуюся ругань и плеск разливаемой воды. Каким музыкальным звуком показался мне этот плеск.

Но вот отодвинулась и наша дверь. Патруль принес бак с водой, ведер на пять. От воды шел легкий пар: когда-то она была кипятком, но теперь нам было не до таких тонкостей. Если бы не штыки конвоя, этапники нашего вагона, казалось, готовы были бы броситься в этот бак вниз головой.

— Отойди от двери, так-то и так-то! — орал конвойный.— А то унесем воду к чертовой матери.

Но вагон был близок к безумию.

Характерно, что и здесь, в водяном вопросе, сказалось своеобразное «классовое расслоение». Рабочие имели свою посуду, следовательно, у них вчера еще оставался некоторый запас воды, они меньше страдали от жажды да и вообще держались как-то организованнее. Урки ругались очень сильно и изысканно, но в бутылку не лезли. Мы, интеллигенция, держались этаким «комсоставом», который, не считаясь с личным ощущением, старается что-то сорганизовать и как-то взять команду в свои руки.

Крестьяне, у которых не было посуды, как у рабочих, не было собачьей выносливости, как у урок, не было сознательной выдержки, как у интеллигенции, превратились в окончательно обезумевшую толпу. Со стонами, криками и воплями они лезли к узкой щели дверей, забивали ее своими телами так, что ни к двери подойти, ни воду в теплушку поднять. Задние оттаскивали передних или взбирались по их спинам вверх к самой притолоке дверей, и двери оказались плотно снизу доверху забитыми живым клубком орущих и брыкающихся человеческих тел.

Продолжение следует

Владимир Фомичев

Враги Руси

Враги Руси на русском говорят.
Не русские, но русскими назвались,
Чтоб кончить нашу душу, кровный брат,
Спалить, сестра,
К тебе любовь и жалость.

Для них мы «ваньки», «нюшки»
Иль «рабы» —
Не Ломоносовы, не Ярославны;
Творцы помойной якобы судьбы —
Без Куликовой, Бородинской славы.

Закон чертей — везде двойное дно:
Разврат — любовь, предательство —
геройство.
И зелье с целью варится одной —
Дурманить нас.
Дурить, скажу я просто.

Как меды пьют, с трибун высоких лгут,
Что все — друзья, наш разум усыпляя.
Их съезды тайные пяти минут
Зато не могут обойтись без лая.

Где яркоцветный русский мир? Агу!
Не фокус ли? Века он был и — нету.
Мы сдали имя русское врагу,
Что с глобуса содрав, пихает в Лету.

Давно нерусских русских больше нас
В науке, прессе, дебрях управленья.
В процентном отношенье — в сотни раз:
Дичайшее, скажу вам, преступленье!

Все — преступленья: центра лишены
(О том и Гитлер-кат мечтал когда-то);
Ракетно вымирая, мы одни
Без плана выживанья — им так надо.

И самый мощный на земле народ
(Нас так назвал — давно ли?! —
Чаадаев)
Без интуиций, как холоп, живет
И, может, хлеб последний доедает.

Враги Руси на русском говорят.
Борцами за права крикливо стали.
Что ж главной уголовщины парад
Не замечают, будто он — детали?

Совсем не братья сводные — враги
Судьбу Руси бандитски захватили.
Спасем родную мать им вопреки?
Здесь неуместно слово ставить: или.

* * *

Какому-то шкурнику, жизни ошметку
Тепличная ласка в Октябрьской стране
И он сатанеет в презренье к пилотке,
К рабоче-крестьянским мозолям —
Вдвойне.

Элитная моль расплодилась-разъелась,
На роль претендует дворянских родов.
«Толстые», «Волконские» —
Лгущая серость,
И каждый «стать всем»,
Лишь воруя, готов.

Фамилию свистнул — и род его яркий
А нацию — гляньте! —
он кровный вам брат.
Что терпишь, Держава,
презренные прятки?
Что жулик — не труженик весел и рад?..

Отцы терроризма, их дети, их внуки -
Змеиный невиданный жуткий клубок.
С ним рядом от страха застыла наука
И голос естественной жизни умолк.

На этом взрастают гигантопигмеи,
Песчинка предстанет горой Арарат.
На избранность хамское право имеет
Новейшего времени «аристократ».

* * *

Рвал мое поколенье фугас
В Минске, Вязьме, избушках селений.
Да еще вырастали без вас
Карамзин, Достоевский, Есенин.

Понимаю: фашисты, война...
Почему же, ведь мы победили,
Не давали нам знанья сполна,
Не открыли великих фамилий?

О пигмеях — тома и тома,
О столпах — ни словечка, ни строчки
Не сошла ли эпоха с ума,
Если помнить о лучших не хочет?

Коль «Историю» Карамзина
Ты собой заменить рад стараться,
Разве, литгенерал, не видна
В этом суть твоя неандертальца?

Путь земной поколенья тернист.
Донесем и до будущих далей:
Обокрал наше детство фашист,
А потом и свои обокрали.

Но нетленна культура моя.
Боевое ее охраненье,
Как Алеша, Добрыня, Илья,
Карамзин, Достоевский, Есенин.

Анна Новак

Продолжая публиковать материалы под рубрикой «Голоса из глубинки», мы знакомим читателей с небольшим рассказом Анны Новак, нашей землячки — жительницы станицы Курчанской Краснодарского края.

Рассказу, может быть, не хватает авторской «мастеровитости», но он берет другим — душевной искренностью, чуждой конъюнктурной игре на теме расказачивания. Этим обуславливая свое право на литературную жизнь.

ЖИВОМУ – НЕ ЖИТЬ

РАССКАЗ

Тимоха Оснак лежал на широкой лавке, кутаясь в старую дедовскую кацавейку. Совсем отощал Тимоха. Даже пальцем пошевельнуть не было сил.

— Тимоха-а... — слабым голосом позвала мать. — Ты бы пошарил в Заикином дворе. Может, какой сапог завалялся или деда Федора постолы. Да травки какой нащипал... Протянуть бы еще немного, а там, даст Бог, и выкарабкаемся.

— Пойду, маманя. Немножко отдохну и пойду, — пообещал Тимоха и, вздохнув, подумал про себя: «Эх, маманя... все уголки, закоулки уже оглядел... И у соседа Заики, и у Велигодских. Небось, если бы что было, и они выжили бы, а то давно снесли их на кладбище в общую яму».

Тимохе было страшно смотреть на темные окна опустелых домов. Хлопали ставни на ветру, во дворе бурьян по пояс — жутко Тимохе от этой нежилой тишины... И все же, преодолевая страх, он взбирался на чердаки. Хотел хоть что-нибудь съестного найти — и ни шкуратка!

«Что же делать? — мучительно думал Тимоха. — Кто же еще носил постолы?.. Кажется, Федот Мысак». Он всегда мимо их дома ходил на рыбалку к Кубани в постолах.

«Вот и пойду к Мысакам! Там в живых оставалась одна бабка Пелагея, — вспоминал Тимоха. — Хотя, может, и она уже в могиле?..»

Тимохе казалось, что уже держит он в руках стоптанные постолы деда Федота. Разведет Тимоха огонь в холодной печке, подсмалит их чуть-чуть. И запахнет жареной коркой свиного сала.

— Выживем, маманя... — Тимоха глотнул вязкую слюну. — Еще чуток полежу и встану.

По осени он еще был бодрее, собирал вместе с голодными станичанами из-под буро-желтых листьев залежалые кислицы, груши-дички. Однажды принес домой торбу желудей. Мать смолола их на самодельной мельничке, добавила опилок и горсть кукурузной муки. Напекла вкусных лепешек-пляциков.

Приходилось Тимохе бродить и по илистым плавням Кубани — выкапывать корни рогоза. Ведь старший в семье — дома ждали его трое меньших и мать. Отца забрали еще в тридцатом. А за что, Тимоха сам не знал. Да и кто мог знать?.. Ночью налетел «черный ворон» — одевайся! И увезли...

Мать мучилась, ночами не спала. Уложив детей спать, припадала к окну, и Тимоха долго сквозь сумерки осенней ночи глядел на ее белую кофточку, тоже затаясь ждал — вдруг послышится легкий стук о шибку:

— Это я, Марфуня...

Но мать каждый раз со вздохом отходила от темного окна и падала на колени перед образами, била поклоны, что-то бормотала, видно, просила Богородицу вразумить: куда же девался ее Серега?..

Тимоха весь сжался от внутреннего озноба, заботливо прикрыл рядном спавших малышей.

Время же шло. Наступил и тридцать третий.

Где теперь отец? А может, и живого уже нет?

У отца будто и грехов никаких не было. В колхоз вступил без всякого противу. Тимоха хорошо помнит тот день, когда в комнату вошли незнакомые — в черных кожанках, и с ними своя, станичанка, тетка Марина Кротова, беднячка... перебивалась кое-как, иногда и милостыню просила. Жила в завалюхе, крытой соломой.

— Как же оно будет? — спросил отец. — Непонятно...

— Понимаете, Пантелеймонович, в колхозе все будет общее... Надо молока — бери, надо еще чего — пожалуйте, — убежденно сказала тетка Марина.

— Ну что ж, коли так... — махнул рукой отец. — Значит, так тому и быть.

И отвез на колхозный двор точилку, веялку и плуг. Запряг лошадей в новую подводу, только год как справили... Да еще цинковое ведро новое сбоку прицепил.

Мать плакала, обнимала Гнедого и каурую кобылу Звездочку.

Отец чадил самокруткой, хмурился, потом, затушив сапогом окурок, тронул за плечо мать:

— Ну хватит, Марфуня. У меня, может, тоже все нутро перевернулось. — И ткнул себя заскорузлой рукой в грудь. — Может, тоже все живьем отрываю.

Кони, чуя недоброе, тревожно пряли ушами и никак не хотели трогаться с места. Годовалый Стригунок, присмирев, жался к вздрагивающему боку матери Звездочки.

Тимоха заметил, с какой тоской и немым укором взблеснули в последний раз их большие умные глаза — куда же вы нас?..

— Но! Но!.. — взмахнул батогом отец. И подвода легонько скрипнула, будто тоже прощалась с хозяевами.

Дзынь... Дзынь... Заколыхалось, зазвенело ведро.

Мать стояла, вытирая передником лицо. Скулил, повизгивая, Рябчик, тыкаясь в длинный подол хозяйской юбки.

Тимоха, стыдясь, незаметно смахнул рукавом засолонившую плотно сомкнутые губы слезу.

Дзынь... Дзынь... Все тише, глуховато отзывалось в ушах Тимохи.

Дзынь, дзынь... В голове Тимохи уже всплывало то далекое раннее утро, когда жили еще единолично. Едут они на степь, Тимоха сидит впереди на охапке пряного сена. Отец рядом, правит вожжами. А на задку подремывает мать, кутаясь в старую ватную куцину.

Станица просыпается затемно. Во дворах слышится говор, где-то до хрипоты надрывается собака, перекликаются петухи, поскрипывают ворота.

— Гей, гей... — выгоняют молодицы скотину на толоку.

В сажах сонно похрюкивают свиньи.

— Но! Но!.. — понукает отец, взмахивая батогом, но лошадей зазря не стегает. Щадит. И они привычно, покорно, с легкой рысцой копытят по пыльной дороге. Следом за подводой бежит, высунув красный язык, Рябчик.

А цинковое ведро все позванивает. Дзынь... Дзынь...

Уже позади их станица Привольная, толока, где паслись коровы, миновали хату Белецкого, что, прячась в вишневом саду, поблескивала цинковой крышей.

И вот она, степь кубанская!..

В жидком туманце проглядывают курени. А там, где мреют высокие раины, за чугункой, стоит их курень с длинным навесом. Возле него садок, насаженный еще дедом.

Смело расхаживают по жнивью удоды.

Тимоха не раз, затаив дыхание, подкрадывался к ним. Хотел поймать эту красивую чубатую птицу. Но удоды тут же проворно взлетали, будто дразнили Тимоху.

Несмышлен он в ту пору был. Разве можно заполонить свободу?..

А когда спускались сумерки над степью и высыпали крупные звезды над головой, мать звала:

— Тимоха-а-а!..

Вечеряли под старой вишней на земле. В печке весело потрескивали сухие стебли подсолнечника. Тимоха любил смотреть, как гасли в темноте искры. Пахло укропом. Мать варила молодую картошку в молоке.

После вечери отец курил, пока мать под навесом на подводе взбивала подушки и стелила рядно. Родители, намаявшись за день, только на подушку — и уже посапывали. А Тимоха еще долго ворочался с бока на бок, приминая хрусткую пахучую траву. Слушал, как от Скрипелевского куреня неслось под гармонь:

Повий, витре, на Вкраину,
Де покинув я дивчину...

Все было: и гармонь, и хромовые сапоги со скрипом. Мать сшила как-то Тимохе косоворотку кремового цвета с черными пуговицами. А когда он подпоясался черкесским наборным поясом с надраенными до блеска бляхами и надвинул на бок кубанку, отец загордился:

— Ну, маты, и удався ж у нас джигит!

— Джигит... — скривил губы Тимоха. — Теперь джигита свалил голод.

А мать ждет, принесет ли кормилец что-нибудь. Но что он мог достать, если люди прямо на улицах от голода падают. Поварили всех кошек, собак... А тетка Дунька Безуглая даже свою шестилетнюю Нюрку съела...

Тимоха поднял тяжелые веки. Печь уныло глядела на него своим зевом — холодная, задымленная... В углу, где стояли рогачи и кочерга, валялась заслонка. Рядом разбросаны куски битого кирпича. Под самой печью, внизу, чернел провал. Металлическими щупами комсодовцы пробили, когда зерно искали.

Мать просила не портить печь:

— Не прятала я никакого зерна!

— План у нас. А твоими словами его не заштопаешь.

Здоровые, ухоженные, видно из города, начали выбивать плотно сложенный кирпич...

Тимоха с младшими, как всегда, сидели на печке. От каждого удара вздрагивая, жались в страхе к холодному камину.

Иной день по две-три комиссии приходили. Дверь не закрывалась. Рыскали всюду: по сараям, по чердакам, даже в колодцы спускались.

А однажды один из комсомольцев, уже немолодой, в очках, заглянул в чугунок, где варила мать какую-то похлебку. Долго вылавливал что-то деревянной ложкой — близко подносил к очкам. Потом, строго сдвинув брови, сказал:

— Вот вам и крупа!

— Да что вы... — удивилась мать. — Мы уже давно забыли, какая она есть.

— А я говорю: крупа! Обшарьте все еще раз!

И пошли выискивать по всем закоулкам. Один вытащил из кармана старой материной куцины несколько связанных узелков.

— А вы говорите — ничего нет...

— Да это же семена укропа, морковки, огурцов...

— Забрать! — перебил ее тот, что в очках. Видно, начальник какой.

— Не надо... — стала упрашивать мать. — Что ж весной сажать будем?

Но начальник, не слушая ее, опять подошел к чугунку и выловил что-то:

— Видишь?

Валька Зубкова, станичанка, прикрепленная к комсодовцам, заглянула в ложку:

— Да это же помидорные семечки...

— И семян не должно быть!

Потом мать долго плакала, крестилась перед иконами, приговаривая:

— Господи, что же это дальше будет?

Валька Зубкова зашла вечером к матери:

— Даже семена забрали.. Верите, тетечка Марфа, мочи нет по дворам шмонать! Сама голодная, а заставляют... Сколько раз отказывалась — как хотите, но сил больше нет. Так еще грозят: «Ваша станица на черной доске! Что, не знаете? Нечего саботаж устраивать! В карцер захотела? Быстренько оформим — и на Соловки!»

Мать, окинув взглядом тощую Вальку, совсем еще девчушку, сокрушенно покачала головой:

— Не знаю, как жить будем. В доме — пусто... А на печке дети голодные...

Тимоха, слушая, недоумевал: «Что это за черная доска? Саботаж?.. И еще какие-то Соловки?..»

И непонятно было зачем забирают у людей хлеб?

Прошлой осенью у них выгребли всю пшеницу, да еще мешок крупных подсолнечных семечек

Мать, раскинув руки, загородила собой дверь в амбар:

— Хватит! Я и так сколько пудов отвезла, хоть для семьи оставьте

Один из приезжих дернул мать за рукав так, что она едва удержалась за корявый ствол шелковицы.

— Ну и горластая! — качнул он головой.— Сразу видать — из казачек...

— А если и казачка, так что ж — помирать?!. — Глядя, как выносили последний мешок, мать в отчаянии выкрикнула: — Что делаете?! Дети ж у меня! Хоть горсть семечек для малышей оставьте Не собачата они ж..

— Казачата! — очкарик сказал так, будто это что-то хуже псины.

— А разве казаки не люди? — оторопела мать.

— Вот за это, тетка, ты ответишь! — очкарик с прищуром оглядел мать.

— За что? — вздернула та брови.

— За саботаж!

Целую неделю держали мать в сыром подвале А деда Федора Заику, соседа, там и заморили...

Бабка Прасковья Заичиха потом приходила к ним и, скорбно поджимая губы, плакала:

— Ох, Марфунько, ты, дал Бог, возвернулась... А мой Власович в подвале душу Богу отдал... А за что? — Бабка Прасковья перекрестилась: — Господи, чем мы разгневали тебя?..

И вспомнился Тимохе зимний вечер, когда высылали казаков.

Мать во дворе управлялась, а отец подбивал оторванный каблук на Тимохином сапоге.

Войдя в хату, мать поставила на табуретку ведро с водой:

— Ну и сумнота в станице, острах берет... Собаки взбунтовались, воют. Видно, беду чуют. Люди веками обживали землю, а теперь вырывают их с корнем и гонят в Сибирь на погибель. Да еще в такой морозище... — И, согревая у горящей печки руки, горестно добавила: — У стансовета что творится!.. Гвалт — уши лопаются! Ох страшно мне, Серега... Что делается в нашей Привольной..

Отец озабоченно нахмурился, и Тимоха заметил, как заходили желваки под его скулами.

— Сейчас забью последний гвоздь и пойдем...

Уходя, мать наказывала:

— Ты, Тимоха, как перегорит в печке, прикрой трубу Да не жируйтесь!

В комнате стало немотно, только ходики на стене: тик-тик, тик-так..

Тимоху тоже охватила какая-то смута, даже сказки не хотелось рассказывать.

И как только засопели Колька, Минька и Маруська, Тимоха осторожно спрыгнул на глиняный пол и, продув дыханием в морозном окне глазок, прильнул к стеклу. Виднелся сарай да покосившийся саж, откуда доносилось сонное похрюкивание Хавроньи.

Он впопыхах накинул жупан, плотнее натянул на голову шапку-ушанку и выскочил во двор.

Станица оглашалась заливисто-тоскливым лаем встревоженных собак. Слышался Тимохе и отдаленный людской гул.

Тимоха не шел, а бежал по натоптанной дорожке, а вокруг искрился снег в звездном сиянии.

Гул все явственней... Вот и площадь.

На ней толпился народ, рядом многочисленные сани, и в них на соломе — закутанные в платки бабы и дети.

Кони, испуганные суматошью, всхрапывали и нетерпеливо били копытами, раскидывая вокруг шмотья снега.

— Маманя-я...

— Гаша, где ты, Гаша-а-а!..

— Что за напасть!

— Ох, господи, заступись...

— Кума, поглядывай за домом... Мы вернымось...

Надрывно причитали:

— Куда же вас, родненьких, гонят?.. Да еще в такую стужу.

Чей-то зычный голос поторапливал:

— Ну, ну... живее!

Кто-то в толпе считал:

— Чечетка? Здесь?

— Раз!

— Закрепа? Здесь?

— Два...

Раздалась команда:

— Пора! Трогайтесь...

— Кто за кем? Ну, чего стоишь?

Молодой конвоир с трудом оторвал от подводы молодуху.

— Ох, папанечка... родненький!..— Платок сполз с ее головы. Волосы растрепались.

— Ну-ну, хватит выть... Все равно перед смертью не надышишься.

Парень грубо оттолкнул ее в гудевшую растревоженным ульем толпу.

— Эх, сынок... Бога побойся...— прошамкала беззубым ртом старушка.— Зачем же им смерть? Им бы жить...

— Хватит, бабка, а то спроважу! — огрызнулся тот.

— Ох, горечко!

— О, господи, как жить будем без дома, без Кубани!..

— Маманечко-о-о...

Тимоха, как очумелый, стоял за чугунной церковной оградой. Невдалеке от него несколько баб, стоя в снегу, неистово крестились на церковь, кланялись и шептали молитвы задубелыми губами.

Тимоха с затаенной мольбой поглядел на темно-синее небо, словно звезды чем-то умиротворят и спасут. Но звезды безучастно мерцали в студеной вышине. И не было им никакого дела до людского горя.

Вдруг кто-то лизнул холодные Тимохины руки. Тимоха очнулся.

Рябчик, повизгивая, уткнулся в его озябшие колени.

— Варя-я-я,— бежала за санями женщина в ворсатом клетчатом платке — Варя-я...— охрипшим голосом всхлипнула вновь и вдруг, споткнувшись, упала в снег.

Тимоха с немым вопросом вскинул глаза на кресты куполов: чем же еще покарает нас Бог?

А покарал Бог мором.

Тимоха лежит, щурясь от яркого солнца.

В комнате тихо... Давно остановились ходики на стене. Гиря опустилась низко и еле держится на потемневшей цепи.

Нудно жужжа, бьется ожившая муха о мутноватое оконное стекло. Все запустело в своем неприкаянном сиротстве.

Тимоха, зябко ежась, натянул до подбородка ветхую кацавейку. Ему вдруг снова захотелось забыться и ничего не видеть вокруг, вернуться в детство, к своему куреню с маленьким оконцем, занавешенным марлей. И

бежать, бежать босиком по горячей колкой дорожке, к соседскому Заикиному куреню, к Павке:

— Эй, Павка! Пойдем на ток, кататься на терке...

— Иду-у-у!..— и Павка, задевая кусты любистка, помчится навстречу.

А после молочи возле своего куреня важно подойдет к ним Павкина мать, прикрывая цветастым фартуком большую паляницу:

— Это, Никитична, из нового урожая... Яков съездил к Попадасу, на мельницу. Вчера хлебы испекла...

— Спасибо...— мать в ответ кланяется и будто оправдываясь: — А мы еще не смололи...— И тут же отрезает краюху.

Духовито пахнет свежим хмелем, сывороткой и паленым капустным листом.

— Удалый, удалый...— хвалит мать и подает Тимохе ломоть.

Тимоха хватает окрасц и опрометью бежит в степь, к свежей копне соломы.

— Тимоха...— еле тянет мать.— Ты еще не ходил?

Тимоха встрепенулся.

— Нет, маманя... Сейчас встану.— А самому не хотелось даже шевельнуться. Так бы лежать и лежать с закрытыми глазами.

В окна вливалось апрельское солнце, светлыми полосами приникало к глиняному полу, вспыхивало в вишневого цвета лампаде, что висела перед образами в красном углу.

Но не горит алый огонек в лампаде, не чадит масло тем елейным, праздничным, как бывало раньше, в рождественские вечера.

...На улице мороз, снег, ветер гудит в трубе, а он, Тимоха, сидит на жарко натопленной русской печи. Рядом притулились к горячему камину меньшие — Колька, Минька и лупоглазая Маруська. Тимоха рассказывает сказки.

Мать в эти дни одаривала их розовыми кониками и мятной карамелью.

«А теперь уж нет ни Кольки, ни Миньки, ни Маруськи...» — вздохнул Тимоха.

Всех отвез Костя Шпак на кладбище, в общую яму.

Тимоха тогда еще был на ногах и видел, как Костя тянул каждого крючком.

Чалая кобыла всякий раз, когда Костя кидал окостеневшие тела на подводу, дергалась, и мелкая дрожь пробегала по ее впалым бокам, по спине. Ее темно-лиловое око влажнело.

Тимохе казалось, что у Чалой текли слезы...

— Но! Но!..— дернул вожжи Костян.

Подвода, скрипя, тронулась.

Голова Кольки на задку свисла и покачивалась, будто живая.

Тимоха, спотыкаясь о колья, бежал следом за подводой. Глядя на остекленелые зрачки брата, кричал:

— Колька... Колька!

Надо было встать.

— Маманя... маманя...

Но мать не откликалась.

«Наверное, уснула»,— подумал Тимоха. Скосил опухшие глаза в окно.

Трется о давно не мытое стекло сливовая ветка... А там, за цветущей сливой, прячется вся в бело-розовом полыме яблоня.

Весна!..

Тимоха цепенеет от страшной немоты. И вдруг улавливает знакомый с детства посвист скворца. Вот он сидит, покачивается на ореховой ветке...

И на какой-то миг у Тимохи что-то внутри затеплилось. И тут же привычная тошнота подступила к горлу:

— Хоть бы чего-нибудь... Хоть кусочек того пляцика, что пекла когда-то мать из желудей.

Тимоха сглотнул тягуче-горьковатую слюну.

А скворец все заливался на цветущей ореховой ветке, будто звал во двор.

Тимоха опустил тяжелые веки:

— Весна... Чего же ты лежишь, Тимоха? — корил он себя.— Сейчас встану и пойду к Мысакам... А там загляну и к Рябцевым, может, у них что завалялось в будке или в стрехах сарая...

И вдруг услышал во дворе чей-то приглушенный говор, шаги, и дверь тягуче вскрипнула.

В комнату вошел Лысаков, председатель стансовета. А за ним показался Костян Шпак, ездовой.

— Ну, что здесь? — широкоплечий, в черной кожанке нараспашку, Лысаков окинул цепким взглядом хату, подтолкнул Костяна:

— Поживее, поживее... Время не терпит.

Костян мелкими шажками подошел к деревянной кровати:

— Никитична готова...

И Костян хотел было перекреститься, но, перехватив строгий взгляд Лысакова, вздохнул. Привычно крючком стянул мать с постели.

Безжизненное тело глухо шмякнулось о глиняный пол.

Тимоха, как от страшного удара, содрогнулся. Оторопело глядел, как медленно сползал с головы матери белый платок с синей окаемкой, как с легким шорохом выпал гребешок, подаренный ей отцом в рождественский праздник. Черные густые волосы растрепались по плечам. Солнечный луч последний раз высветил неузнаваемое, распухшее лицо.

— Маманя...— с трудом, преодолевая спазмы в горле, прошевелил губами Тимоха.

Лысаков, постукивая черенком батога по голенищам хромовых сапог, прошелся по комнате, заглянул на печь — не осталось ли там еще кого, и строго пробасил вернувшемуся Костяну:

— Этого тоже забирай!

— Как же? — в недоумении развел руками Костян. — Он ведь живой...

— Тебе говорят, значит, исполняй.

— Нет...— качнул головой Костян.— Не могу, Лексеич... Грех такой на душу брать.

— Это какой еще грех? — повысил голос Лысаков.— Все равно до вечера окочурится и опять за ним приезжать? Еще вон сколько дворов объехать надо. Каждая кляча на вес золота. Весна на дворе, земля парует, пахаря ждет, а ты о грехе...

Костян молча стоял, опустив голову.

— Или в подвал просишься? А там, гляди, и на Соловки пошумишь!

Тимоха в ужасе взмолился.

— Дядечка... не надо...— прошептал заикаясь.— Я выживу...

Лысаков, будто и не слышал Тимохиных слов, зычно крикнул Костяну:

— Приказываю, понял? Иди...— И круто повернувшись, наступил сапогом на гребешок матери. И тот с треском разлетелся мелкими кусочками по полу.

Костян украдкой перекрестился и, что-то шевеля губами, зацепил крючком Тимохину рубаху — поволок к двери.

Тимоха так же, как и мать, больно стукнулся головой о высокий порожек и будто провалился во тьму...

Опомнился ночью в общей яме на кладбище.

Задыхаясь от трупного запаха, силился откинуть навалившееся на него мертвое тело. Нащупал руками в боковой стенке ямы корневище и, цепляясь непослушными пальцами, старался подтянуться...

— Еще, ну еще немножко...— подбадривал себя Тимоха.— Осталась самая малость...

Но корневище вдруг оборвалось, и Тимоха повалился на закоченелые, скользкие тела...

Силы совсем покинули Тимоху.

— А может, закрыть глаза, задохнуться и навеки остаться тут со

всеми, с маманей? И все муки кончатся… Куда же ты рвешься, Тимоха? Что ждет тебя на этой грешной, суетной земле?

Но что-то настойчиво выталкивало Тимоху из этой зловонной могилы: может, сила жизни такая? Как корни тополей по весне… Любую твердь пробивают.

Тимоха опять хватался за землю, царапая руки:

— Господи, помоги мне!..

Судорожно вцепился руками за сиреневый куст и, превозмогая себя, выкарабкался, приминая кладбищенскую зелень.

Запахло мятой, горьковатой полынью и еще какой-то терпкой травой.

Ночь. Ни огонька вокруг.

— Господи…— шептал Тимоха, глядя на мерцание звезд в далеком небе, на месяц, вынырнувший из-за тучки.

Неужели он, Тимоха, жив?..

Жив, жив! Лежит обессиленный, но — дышит… А рядом, притулясь к поваленному деревянному кресту, качается потревоженный Тимохой куст сирени.

Тимоха, пересиливая себя, встал на ноги. Колени подламывались. И все же Тимоха, с трудом переставляя ноги, перешел дорогу.

Вот белеет и первая хата.

Тимоха присел на колоду возле плетня и с жадностью стал жевать горьковатые цветы яблони, склонившейся над его головой.

…Лишь на рассвете Тимоха переступил порог своей родной хаты. И тут же рухнул на пол. Его плечи затряслись: Тимоха плакал.

Пробивался в окна рассвет. Смутно проступала лавка, где еще недавно лежал Тимоха.

В ушах еще слышались грозные слова Лысакова: «Забрать!».

— Куда же мне деться? — терзался Тимоха.— Найдут, не миновать крючка Костяна.

Хватаясь руками за косяк двери, поднялся. Шатаясь, доковылял к сараю, где в углу горбилась охапка залежалой соломы. Зарывшись с головой, затаился, прислушиваясь к легкому шуршанию ветра в камышовой крыше. Залетали ласточки, шумливо и радостно лепили в стрехах гнезда.

День Тимохе казался мучительно длинным. Когда же подступила ночь, он, боязливо озираясь, пробрался в сад, к поваленному плетню, где ощупью нашмотал одуванчиков и припал губами к пахнущей солнцем медвяной цвети.

И опять, схоронясь в сарае, вдыхал Тимоха прелесть соломы, нетерпеливо ждал ночи.

И непонятно было Тимохе: почему так сделалось, чтоб не жить живому?..

ВАДИМУ ПЕТРОВИЧУ НЕПОДОБЕ—50 ЛЕТ

В. П. Неподоба родился 26 февраля 1941 года в Севастополе, но вся его жизнь связана с Кубанью. Здесь он закончил школу, и затем пединститут. Здесь в 1956 году в районной газете «Белореченская правда» появилось его первое стихотворение.

После выходи поэтического сборника «Гроза над домом» в 1977 году В. Неподоба был принят в члены СП СССР.

В своих стихах поэт утверждает неразрывность связей человеческой судьбы с родной землей, говорит о жизни во всей ее сложности и разнообразии. Не исключение в этом отношении и новая поэма-исповедь В. Неподобы «День Спасения», отрывок из которой мы и предлагаем вниманию читателей

СПОР

Из поэмы-исповеди «День Спасения»

**Из бани, вдоль живых заборов,
Пошли к вокзалу мы с отцом.
Он расстегнул пошире ворот:
— Что нужно, говорил Суворов,
Чтоб грудь стояла колесом? —
Так приблизительно сказал он. —
Запомни это и учти:
«Будь рядовым ты, генералом,
Но после бани двести граммов,
Продай портки, но пропусти!»
А мы с тобой, сынок, солдаты…**

**Кивок хозяйке моментальный —
И мы садимся в угол дальний
И получаем по одной.
У бати крепкая сноровка:
Хватил — рука за огурцом.
А мне приятно и неловко —
Впервые пью вот так, с отцом!
Как будто бы при звуках вальса,
Легко и празднично в груди…
— Частенько это, признавайся?
Советую, не увлекайся,
А на меня ты не гляди.
Я, как твой дед, пусть скажет мама,
Не пил ни грамма до войны.
И фронтовые двести граммов
Я на морозе, лютом самом,
Не принимал от старшины.**

**— Фронтовики, мы крепко пили,
Когда с войны пришли домой.
За тех, кто голову сложили,
От удивления, что живы,
По жуткой воле роковой.
А скольких эта вот подруга
Сгубила и каких людей!
И я запил однажды глухо,
Но вышел из хмельного круга —
И все для вас, моих детей.
Не пил лет десять этой дряни,
Отрезал сразу — и капут.
Ни в праздники, ни после бани
И ни в какой другой компании —
И вот… Ты кончил институт…
Я и мечтать не мог об этом —
Такие были времена…
Теперь моя уж песня спета,
А ты вот стал корреспондентом,
На целый край — величина!
«Твой сын пробился в люди, значит?» —
Мне так в станице говорят,
И только дядя Ваня-банщик
«Как твой газетный барабанщик?» —
Спросить всегда с подначкой рад.
Оно и мне не ясно что-то,
Сынок, с профессией твоей:
Есть агроном, учитель, доктор,
А это что же за работа
В глаза обманывать людей?!**

Вот вы, скажу тебе к примеру,
Как и всегда: «Даешь! Ура!»
Взяв чью-то выдумку на веру,
Нетерпеливые не в меру
Набросились на хутора.
Кормильцы матушки России,
Отдали все они стране.
Теперь бедны и некрасивы...
А вы бы у людей спросили,
Пришли бы вы к нему, ко мне!
Мы тоже что-то понимаем
И в деле думаем сперва.
Ну ладно: октябрем и маем
И хутора мы поломаем,
Как раньше рушили церква,
Вновь за крестьян возьмемся вместе
И вырвем с корнем из души
То, нет чему цены на свете,
А что взойдет на этом месте?!
Подумай-ка и напиши.
Считать подобием балласта
Ограбленные хутора —
Ведь это глупо и опасно!
Нет, не напишешь — это ясно:
Вы повторять слова начальства,
Бить в барабан вы мастера,
Показывать в кармане кукиш...
А можешь ты запрячь коня?
Я вижу, правды ты не любишь.
И все же, ну кого ты учишь?
Ивана-банщика? Меня?
Что за наивное упрямство?..
Да ты не нервничай, постой.
За наше к делу постоянство
На экзекуции крестьянства
Мы с ним прошли свое сквозь строй.
Вот ты, коли писать охота,
Додумайся, в причину влезь:
Чья эта адская работа?
Почто с семнадцатого года
Такой к крестьянам интерес?
Полвека скоро манят раем
И гонят лозунгом «вперед»,
С землею, как в футбол, играют,
И он скудеет, вымирает
Российский наш крестьянский род.
А ваш газетный шум — завеса.
За этой ширмой — темный лес.
Хотя и тут... все меньше леса...
— Так ты, отец, против прогресса?
— Да в чем же видишь ты прогресс?!
В отчетных цифрах пятилетки,
Где процветает наш народ?
В том, что живет в бетонной клетке,
Оставив землю, хлебороб?!
Что химией в любом разрезе
Природа вся заражена?!!
Все помешались на прогрессе,
Не потому ль на каждом съезде,
Что новизна, то кривизна?!!
Ну что ж, давай по третьей, что ли...
Не рад ты службе — что скрывать?..
Учил бы ты детишек в школе.
А то сопьешься поневоле —
А ну-ка столько сразу врать!
Я вспомнил: ровно четверть века
Минуло на земле с тех пор,
Как два столь близких человека
Вели в столовой этот спор.

Жизнь фантастично быстротечна.
Я вижу: стол в углу, скамья;
Там, за столом, отец, конечно,
А рядом с ним... неужто я?!
Отцу несдержанно стараюсь
Внушить, что все идет путем,
Диалектической спиралью
Скрепляя мысли, как гвоздем:
— Случилось, что должно случиться.
Вы выкормили эту власть,
Что сызмальства была волчица, —
И вот в ее попали пасть.
И, разобраться если толком,
Закономерно то, поверь,
Что был свирепым самым волком
Обожествленный вами зверь.
«За Сталина!» кричал на фронте?
— Кричал. Кричали все. — Ну вот.
За эту слепоту в народе
И презирал он наш народ.
— Но я за Родину сражался,
За вас, детей и матерей.
Не презирал он, а боялся
И не случайно ограждался
От нас кольцом концлагерей!
Что б мы в атаке ни кричали —
«За Сталина!» иль «В бога мать!»,
Но мы Отчизну отстояли
И из руин смогли поднять.
Наш груз был горьким и тяжелым —
Зачем искать в беде вину?
А вы с Микитою Хрущевым,
Считай, уже на всем готовом
Вернули к карточкам страну.
Что завтра коммунизм, — наврали.
Сгубили севооборот
И кукурузу в Заполярье
Сажать заставили народ.
Да, был я в Сталине уверен,
Кричал «За Сталина!». Постой,
А кто внушил, что он, как Ленин,
Великий, мудрый и простой?
Кто пулей, словом и плакатом,
Где он, Отец наш, в полный рост,
Вдолбил крестьянину в тридцатом,
Что к счастью путь один — колхоз?!
Такой же точно барабанщик,
Трескун газетный заводной,
Сперва наивный глупый мальчик,
Потом прикормленный обманщик,
Манок бездушный, надувной.
Ты вот ученый, в паре модной
И то в мозгах не раскрутил,
Кто с хищной цепкостью природной
Проехал по мечте народной,
Зло в человеке разбудил.
Да, точно: ровно четверть века
Минуло на земле с тех пор,
Как два, столь близких человека
Вели опасный этот спор.
Сейчас уму непостижимо,
Ночами пухнет голова:
Да, пролетели больше мимо
Тогда отцовские слова.
Да, я готовой меркой мерил
Отца родного своего
И не ему, несчастный, верил,
А тем, кто жизнь сгубил его...

Эту книгу прислали из Америки. Впервые за 74 года широкий кубанский читатель имеет возможность познакомиться с жизнью и судьбой казака, умершего на чужбине. Думаю, она станет большим подарком для старых и молодых кубанцев, взметнувших в октябре свои взоры к возрожденной Кубанской Раде. Есть что вспомнить потомкам запорожцев — вот то первое, что обострит ум при чтении Г. Солодухина. Не раз воскликнет чья-нибудь душа: «Слава Кубани!». А там, откуда эту книгу прислали, где существует Кубанский Казачий Союз и свой Атаман и где на уютных кладбищах с часовенками и крестами лежат усопшие «белобандиты», будут рады дошедшей наконец в родную степь весточке. Уже не власть мешает нам соединиться в родственных связях и смиренно побрататься в общем горе, а чертополохом наросшее повсюду высокомерие ничтожеств, продолжающих борзописать, чей отец «погиб от рук белобандитов» да какому старому музею суждено вечно носить имя «Луначарского-просветителя», которого якобы знает весь мир. Разорив нас дотла сатанизмом этих «просветителей», чертополошные наследники всё еще подкармливают идеологическими сосцами хвалу виновникам наших несчастий. Что ж, они берегут своих, мы будем возвращать домой своих. И вовсе не «белобандитов», а патриотов, оболганных униженных и согнанных с родных земель. Праведные тени тихо и скорбно вернутся домой, к поруганной черноземной святыне, и мы по их листочкам и фотографиям убедимся, что они и на чужой стороне не потеряли человеческого облика, жили для России и завещали свои чувства детям и внукам, которые теперь, слава Богу, вручают нам эту чудесную исповедь.

Виктор ЛИХОНОСОВ.

Гавриил Солодухин

ЖИЗНЬ И СУДЬБА ОДНОГО КАЗАКА

КАЗАЧКА-МАТЬ И КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА

Станица Ильинская находится в 37 верстах от реки Кубани, к северу от нее, на хорошей, ровной, широкой, плодородной и свободной казачьей земле. Весной вся станица утопала в цвету, и запах белой-белой акации наполнял воздух. В садах расцветали черешни, вишни, лыча, персики, абрикосы, мелкая курага, груши, яблоки, виноград, смородина, крыжовник, тутовник и дикий терен. Весь этот весенний многоцвет приносил радость казачьему хозяйственному сердцу.

В 1900 году, 25 марта, станица готовилась к большому торжеству, ко дню Благовещенья Пресвятой Богородицы. На заре пробудившаяся станица радостно огласилась ржанием лошадей, мычанием коров, визгом свиней, пением петухов, воркованием голубей и неумолкаемым лаем собак. А когда взошло большое играющее солнце, казачка-мать счастливо разрешилась от бремени казачонком.

Этот день для станицы был торжественным: станица освящала новую большую церковь. И в честь этого большого праздника, в тот же день, вечером, только что родившийся казачонок был крещен в новой церкви по православному обряду. Дали ему имя Гавриил. И вот этот казачонок Гаврилчонок я и есть. Тот, который пишет эти строки.

Я сын простого бедного казака. Мой отец умер молодым, 33 лет от роду. Моей матери было 32 года, когда она осталась вдовой с шестью малолетними детьми. Моей сестренке — Насте, самой старшей, шел тогда 14-й год. Мне было 10 лет, а остальные были еще младше меня.

Родимая мать! Сколько было у вас печалей, забот и нужды! И какими горючими слезами обливались вы, прижимая к своей

материнской груди ваших маленьких деток! Я рос без отца. Но благодаря вашим, мама, заботам, я не знал ни нужды, ни печали.

При казачьем свободном и равноправном управлении в станице я рос таким же свободным и чувствовал себя равным среди детей богатых казаков. И на своих казачьих свободных широких полях я, как вихрь, летал на собственной кобылице Груньке. Я ею тогда гордился, как красавицей. Она была гнедой масти, с орлиным носиком, и я на ней «охлюпью», вихрем, гарцевал. На скачках я с гордостью — и много раз — «побивал» детей богатых казаков. Тогда, в своих свободных станицах, мы не знали ни полиции, ни границ. Казак ни перед кем не гнул спины. По своему достоинству казак был горд. Так вот воспитывали казаки и своих детей.

Наш отец был Георгиевский кавалер русско-японской войны 1904—1905 годов. Я хорошо помню, с каким достоинством он держал себя в станице!

Наш «род Солодухиных» я хорошо знаю по рассказам. Они были самыми богатыми людьми в станице. В истории Кавказского Линейного казачьего Войска пишется, что в одном из донских полков, бывших тогда, во времена завоевания Кавказа, на Кавказской линии, служил урядник Солодухин. Однажды он был послан в разведку со взводом казаков. Облако пыли, которое он увидел вдали, показалось ему подозрительным. Взвод бросился по направлению к облаку и обнаружил горцев, гнавших русских пленных, среди которых был и сам начальник русского отряда граф Шереметьев со своим штабом. «Бросившись в шашки», Солодухин со взводом своих казаков отбил у горцев всех пленных. За этот подвиг урядник Солодухин был произведен в офицеры; ему пожаловали в вечное владение сто десятин земли. Мой дед, тоже Гавриил Солодухин, был родным сыном этого урядника, произведенного в офицеры. Дедушка влюбился в русскую, иногороднюю (то есть девушку неказачьего происхождения), и женился на ней, не спросив разрешения своего отца-офицера. За это он был изгнан со двора, и его отец-офицер в своем завещании написал: «С моего хозяйства — ни одной палки не давать ему; и когда я умру, не допускать моего сына-изменника к моему гробу. Я не хочу, чтоб нога его стояла близко возле моего мертвого тела». Так писал в своем завещании мой прадед. Он был гордый казак.

Через один двор от нас жил казак Максим Стрельников. Жена его умерла в ту же неделю, что и мой отец. Он был старше моей матери на три года. По рассказу, будучи еще парубком, он ухаживал за ней и сватался к ней. Но она была еще молода, и ее не отдали ему в жены. Теперь Максим пришел к нам в дом и просил маму выйти за него замуж. Услышав это, мы, дети, окружили ее, начали плакать и просить ее с криками: «Мама, не ходи к чужому дяде. Мы со своего дома никуда не пойдем! Не пойдем к Стрельниковым!»

Мать обняла нас, заплакала и говорит: «Милые мои деточки. Вижу, что вы очень любите родной дом и гордитесь именем своего отца. Никуда я вас из отчего дома не уведу. Будете расти в своем доме. А тебе, дорогой Максимушка, я скажу правду: моя прежняя любовь к тебе прошла, пропала. А идти к тебе жить только потому, что вместе будет веселее и лучше, то нет... не хочу соединять в одну большую кучу неродных детей... Ты имеешь троих, да вот я приведу своих шестеро... да еще новые дети появятся... все эти дети по крови будут уже неродными... Нет, не пойду! Видно, мне от Бога суждено быть вдовой. Сумела нарожать, должна суметь и воспитать. Спасибо тебе, Максимушка, за предложение». И Максим Стрельников ушел домой.

У моей матери было два родных брата. Они жили вместе и жили зажиточно.

Первый из братьев, Григорий Хаженец, на много лет старше матери. Он имел семь дочерей, но сыновей у него не было. Он был моим крестным отцом и просил у мамы разрешения усыновить меня. Но мать ему отказала. Но все же братья ее взяли меня к себе в дом, чтоб я помогал им по хозяйству. Они имели десять упряжных лошадей. А ходить за ними некому. Вот тут-то я и почувствовал себя героем перед своими друзьями-ребятишками. В таком «косяке» у меня было много возможностей подобрать для себя лошадь побыстрей. Особенно выделялся серый горбатый конь — резвый, увертливый и прыткий. И вот, бывало, каждый соседский мальчик гонит своих лошадей на пастбище. Конечно, и я с ними гоню дядиных лошадей. Там, в степи, нас никто не видел, и мы устраивали между собой «скачки». Чаще всего, когда гнали лошадей домой с пастбища. Распутаем лошадей и путы понавешаем им на шеи. Тогда двух-трех лошадей хорошенько огтянешь арапником, чтоб они побыстрее бежали домой. И когда сами далеко отстанем от них, тогда пускаем своих лошадей, — чья скорей обгонит других. А я такой был азартный наездник! Спробую своего Серчика «на выпередки», в скачках со многими ребятишками, домой приеду, а мой Серчик, что называется, мокрый, как мышь. Аж мыло с него течет... Увидит это дяденька мой, отец крестовый, покрутит головой и сам с собой заговорит, но так, чтоб и я услышал: «Вот сорванец, азиатский сын, басурманин, как же загнал бедного коня!» А я в это время, вроде, как бы не слышу его. Соскочу с коня и быстро пойду в дом. А он посмотрит вслед и заметит, что я поддергиваю свои штаны, чтоб они не прилипали к моему побитому заду, с которого уже вся кожа содрана. Тут мой крестный усмехнется, покачает головой и громко скажет: «Так тебе, басурманин, и надо. Теперь хоть с неделю не сядешь на бедного Серчика».

После таких азартных скачек мне, конечно, с неделю приходилось поддерживать свои штаны. Да и во время обеда было больно садиться на скамейку, и я сидел на ней как-то боком. А мой дяденька Микитушка, тот материн брат, что помоложе, чтоб надо мной посмеяться, нарочно сядет возле меня и скажет: «Ты что занял так много места, разве за столом боком сидят? А ну, сядь ровней!» А сам своим локтем толкает меня под бок. Тут я сразу криком зову на помощь свою милую бабушку. А бабушка за меня стояла горой. Укоряет своего сына: «Ах, Микитушка, сыночек, вместо того, чтоб мальчику помочь и чем-нибудь смазать его пострадавшее место, ты еще насмехаешься над ним».

— Ничего,— отвечает дядя,— на нем все заживет, как на дядином щенке.— И вновь толкает меня в бок, добавляет. — Да сядь же поровней, басурман! — Тут и девчата, мои двоюродные сестры, зальются смехом: они сидели вместе с нами за столом.

Кур у них было штук 200—250. Многие неслись в соломе, в саду. И вот все те яйца, которые куры несли за сараями, моего зоркого глаза не миновали. Я крал их и бегал в лавочку к Гришке Шарпану, чтоб менять их на конфеты и папиросы. А наказывать меня и бить за всякие шкоды у них некому, кроме тетки Марфушки.

В то время моему крестному отцу, Григорию Хаженцеву, было около сорока лет. А его младшему брату, дядюшке Никитушке,— 17—18. Оба — большие смиряги. Не пили, не курили. Никого скверным словом не обругают, никого и пальцем не тронут. А две их сестры, моя мать и тетенька Марфутка, такие были бойкие, отчаянные на все, как у нас говорили, «оторви голова». И вот, когда что-нибудь да напроказишь у Хаженцевых, мой крестный отец, дядя Григорий, начнет ругать меня так:

«Ах ты окаянный мальчишка!.. Ну до чего же ты шкодливый да драчливый! Настоящая Мать-Машка, азият! Так и смотрит кому бы голову сорвать или что-нибудь да разбить. Вот взять бы ремень, да твою спину исписать бы.. Но не хочу о тебя ремень поганить. После этого ремень вонять будет».

А его дочери так и зальются смехом от того, что их отцу «жалко ремень поганить о мою спину». Они, эти мои двоюродные сестры, часто от меня плакали, так как я не раз давал им «клочки», то есть бил их. Дому их я принял много «жизни», веселья и смеха. И в то же время я доставлял им всяческие неприятности. Чем дольше я жил у них, тем больше делался шкодливым и драчливым. И как бы они ни тешились мной, как бы они ни любили свою родную сестру — мою мать, им стало невмоготу держать в своем доме такого племянника. И вот, в тысяча девятьсот тринадцатом году, осенью, в одно воскресенье, мой отец крестовый заявил нашей матери так:

«Слушай, Машка, пожалуйста, забери к себе своего Гаврика-басурманина!»

А моя мать отвечает ему: «Из таких, как он, басурман, мужчины вырастут, не такие, как вы, мои братья, курицы мокрые. Видно, ваши жены на вас верхом ездят. Поэтому-то вы и отказываетесь помогать своей родной сестре. Сегодня же Гаврика заберу домой».

Брату на это нечего было возразить ни одним словом. Он почувствовал себя виновным перед нею: он свою сестру очень любил. Да он и меня любил и гордился мной, и всегда говорил: «Гаврик уродился в мать: ну настоящая Мать-Машка. И подлец и в то же время бесподобный молодец. На нем и под ним все горит».

И я вернулся к матери — жить у себя дома.

У нас было две рабочих лошади и, кроме них, двухлетняя кобыленка, шалунья Саня, дочка нашей любимой кобылы Груньки, приплод от чистокровного общественного жеребца станицы. Кобыленка Саня была очень красивая, веселая, игривая. Ее любила вся наша семья. Но из-за нее мне не раз «попадало» от матери за то, что я ей тут же давал «клочки», когда она, эта кобыленка, во время чистки ее часто кусала меня за локоть и хватала за штаны, то за рубаху, как бы играючи со мною.

В этом же году мы стали работать вместе с Яковом Гисом. Его жена была родной теткой нашей матери. Дедушка Яша Гис и наша мать сообща купили американскую косилку-сноповязалку фирмы «Мак Кормик».

С 1912—1913 годов в нашей станице все казаки убирали хлеб только сноповязалками. Как говорили, у нас в станице — с 1900 года — появились сноповязалки немецкой фирмы «Мосей Гариц». Они были хорошие, но тяжелые. А с 1910 года появились в продаже американские сноповязалки фирм «Диргин», «Мак Кормик» и «Осборн» — более легкие и хорошие по качеству.

Бедные казаки — такие, как наша мать с ее небольшим хозяйством,— покупали сообща, или «спрягались»* с теми, у кого сноповязалки уже были. Косами в те годы уже не косили.

В 1915 году выдавали замуж мою старшую сестру Настю, а в 1916-м я получил положенный мне по возрасту казачий паевой надел, т. к. мне исполнилось 16 лет. «Пай» — 7 десятин пахотной земли и одна десятина сенокоса.

На Кубани тогда каждая станица совершенно самостоятельно управляла своими юртовыми землями. В каждой станице земля делилась между казаками каждые два года. У нас, и в ближайших к нам станицах, никто не имел «хуторов» в поле. И весь хлеб в снопах свозился в станицу, в огороды.

Одна станица от другой стояла в 15—20 верстах. Поля у нас ровные. Бывало, как

* Слово «спрягали» означает, что два-три хозяина работают совместно. «Спрягаются» и тогда, когда богатый казак соглашается помочь в работе бедному.

засеют одну сторону только озимой пшеницей — то сердце так и мрет от радости, когда едешь и смотришь на это цветущее пшеничное море, которое колышется своими синими, с пробелом, волнами.

В том же 1916 году мать заняла деньжонок и купила четвертую лошадь, второй «ход», аксайский букарь и старую «линейку». А мы, ее три сына, стали во всем самостоятельными хозяевами. Мне было 16 лет, братишке Ване 12, а третьему, Козьме — 8 лет.

Выедем, бывало, на пахоту... Днем пашут младшие братья — Кузя верхом на передней кобылке Груньке, а старший Ваня — за букарем.

Ваня страсть любил перепелов бить кнутом. Из этих осенних жирных перепелов я варил очень вкусный суп. Но иногда из-за этих перепелов мне приходилось давать Ивану хорошие «клочки», т. е. бить его. Порою он так увлекался битьем перепелов, что забывал и о букаре. А букарь, смотришь, забьется бурьяном и не пашет, а только ползет поверх земли. А то — кони дошли уже до дороги и надо «выворачивать» букарь, а букарь, глядишь, уже дорогу пашет, а Ваня все перепелов бьет...

Я, как хозяин, днем досматривал за всем. Надо все поправить, починить, дать лошадям корм-мёшку; приготовить еду для нас — кашу-кулеш. Ночью я спать не ложился, а садился на колени возле колеса подводы. Положишь голову на втулок, так и спишь. От такого неудобного положения голова и шея скоро начинают болеть. Тогда я встану и посмотрю — есть ли у лошадей корм? Если нет, то подложу еще, посмотрю на время. Часов, конечно, в те годы не было, и время определялось по звездам и по месяцу. Перед рассветом запрягаю лошадей и начинаю пахать один, пока братишки спят. Десятина пахотной земли у нас имела сто шестьдесят саженей в длину и 15 саженей в ширину. За один «упруг» (четвертая часть дня) я всегда обгонял десятину раз двадцать — туда и обратно. Обгоню 10—12 раз, поднимается солнце. Я останавливаю лошадей, даю им отдых, а сам бужу своих помощников-братьев. Они встанут, умоются, сядут на колени, лицом на восход солнца, Богу помолятся, а я в это время отрежу им по краюхе хлеба. Хлеб хорошо натру чесноком с солью и отрежу им по куску свиного сала. И они заменяют меня на пахоте. А я начинаю варить завтрак и готовить лошадям корм-мёшку.

Когда земля доставалась нам вблизи от станицы, верстах в 5—7 от нее, наша мать подоит двух своих коров, выгонит их на улицу в стадо, а сама захватит все, что она приготовила для нас, и быстро идет на пахоту, к своим деткам. И какая для нас была радость увидеть ее здесь, на пахоте! Ведь она принесла нам горячих пирожков с картошкой, с горохом, с капустой, с фасолью. Принесет, бывало, и сладкие пирожки с яблоками, и со сливами, и с вишнями, и обязательно принесет кисло-сладкую кулагу из пареных фруктов, вроде теста, которую мы все так любили. Мы, трое братьев, сидим и завтракаем, а Волчок (кобель) лежит возле нас и облизывается, ожидая, когда и ему выдадут его «пай». Мы всегда делились с Волчком пирожками и кулагой, и он их так же любил, как и мы. А мама в это время пройдет к лошадям, посмотрит, проверит — не потерты ли у них плечи и холки, исправны ли хомуты, потом выберет орепья из грив, расчешет гривы, чтобы не потереть лошадям плечи, и вообще проверит: все ли в исправности? Потом пройдет к букарю, снимет с него колеса, смажет оси черной тягучей мазью. Перевернет букарь, терпугом наточит все лемеха и поможет нам запрячь лошадей. После этого обгонит с нами раза два пашню и скажет: «Ну, детки, с Богом! Пашите! А я пойду домой». Наша мать ходила быстро, стройно. Была вся, как на пружинах, живая.

Засевали мы свою землю американскими дисковыми садилками-сеялками. Садилки, дисковые и «сапожками», и простые сеялки были почти у каждого казака-хозяина. Кроме, разве, очень бедных. У кого сеялок не было, просили у брата, дяди, кума, свата, у соседа. Руками тогда уже никто не сеял. У нас сеялки тоже не было, и мы ее брали взаймы или у дедушки Яши Гиса или у дядей Хаженцевых. Весь убранный хлеб свозили с поля домой. Дворы (планы) у казаков нашей станицы были большие — по полдесятины на пай, и разбивались они на три части. В первой — строили дом, амбары, конюшни, сараи. Сараи строились отдельно для коров, отдельно для свиней, отдельно для овец. Не говоря уже о конюшнях, которые казаку дороже всего. На вторую часть двора свозили с поля снопы. Их складывали в большие одонки. Третья часть плана — задний огород — отводилась под фруктовые сады, где одновременно сажали и всякие овощи: картофель, бурак, капусту, помидоры, морковь, огурцы, лук, чеснок и горькую редьку. Там же рос укроп-падалица. По всему этому огороду рос также редко разбросанный мак, головки которого были величиной в кулак. И как полагается у хорошей хозяйки, каждый сорт овощей обязательно отделен один от другого межой. И вокруг огорода красуются подсолнухи — стебель толщиной в руку, а цветок размером с ковбойскую шляпу. По-над канавой росла и никем не сажённая обжигательная крапива.

Казаки молотили хлеб только паровыми молотилками — 8—10 и 12 «силками». В нашей станице было свыше пятидесяти таких молотилок. Молотилки нанимались «от чувала». Это означало, что хозяин плату за молотилки брал натурой, то есть из 25—27 чувалов один себе, остальные владельцу. Хозяин молотилки имеет свой персонал для обслуживания машины: машиниста, двух зубарей, кочегара и смазчика. Хозяин же двора нанимал «огул» рабочих. Их обязанности распределялись так: шестеро мужчин сбрасывали снопы с одонка, подавая их на барабан; двое мужчин отбрасывали солому от барабана; шестеро мужчин складывали солому в большие скирды, трое мужчин складывали полову в скирды; двое подставляли пустые чувалы в рукава барабана, откуда сыпалось зерно, потом завязывали чувалы с зерном; двое мужчин возили чувалы и высыпали зерно в закрома амбаров. В молотьбе принимали участие и женщины. Их силы распределялись так: четыре женщины стояли на полку барабана и ножами резали шпагат, которым были связаны снопы. Затем развязанные снопы подавались ими зубарю. Кроме того две женщины отбрасывали полову от барабана.

К этому огулу казак-хозяин добавлял еще 6 человек, чтобы солому и полову волоком тащили от барабана и складывали в скирды. Еще один мужчина возил в бочке воду для паровика. Четыре или пять женщин, обыкновенно члены семьи казака, в больших котлах варили борщ с мясом. Рабочих кормили три раза в день: завтрак, обед и ужин.

Молотьба была всегда очень горячей работой и хозяина молотилки, и казака-хозяина. Они боялись пропустить каждый час работы, т. к. она была больше чем сезонной. Каждый хозяин стремился как можно скорее отмолотиться и приняться за пахоту. Поэтому нередко молотили и по ночам, при свете фонарей.

В 1914 году рабочих для молотьбы было найти трудно. Казаки-хозяева нескольких дворов собирались вместе, чтобы сообща молотить хлеб у каждого. Наша станица была большая, богатая хлебом, скотом, птицей. Все было свое. Чисто казачьего населения в станице, мужчин и женщин, было до 19 тысяч, а иногородних — до 5 тысяч.

Иногородние не имели права голоса в станичном самоуправлении. И как бы они ни были богаты и образованны, и какое бы они ни занимали положение в станице — раз он «иногородний» — будь он кто угодно — доктор, учитель ли, офицер ли и даже миллионер — раз он не казак, то казаки, коренные жители станицы, называли их «мужиками». Вот и все.

В станице были две большие церкви, с двумя священниками в каждой и необходимым причтом — дьяконами, псаломщиками, хорами из певчих своей же станицы.

Была прогимназия. Имелось два двухклассных училища с пятилетним сроком обучения. Все без исключения дети казаков учились бесплатно, как и получали бесплатно все учебники. Было четыре начальных школы для мальчиков и девочек. Были в станице также две начальных церковно-приходских школы для иногородних детей — мальчиков и девочек.

Имелась большая больница с фруктовой усадьбой, под которую отведено было около 2 десятин станичной земли. Казачье население лечилось и получало лекарство бесплатно, т. е. все это принадлежало станице, было куплено и построено на станичные общественные деньги.

В станице находилось немало частных предприятий, как-то: две дизельные мукомольные мельницы, несколько водяных мельниц и довольно много «ветряков». На последних мололи только ячмень для корма лошадям, под названием «дерти».

Казаки ели только белый хлеб, пшеничный, а черного, ржаного — и в глаза не видели.

Был в станице частный кинематограф и небольшие заводы — кирпичный, дубильный, шерстобитный и кожевенный.

Дома у казаков крыты большей частью белым оцинкованным листовым железом, и только у немногих — камышом и соломой. Амбары крыли только железом, это было признаком достатка и менее опасно в случае пожара. Два-три амбара полных зерна были не редкость у многих казаков. Конюшни и подъездные сараи для всей снасти (машин, ходов и пр.) крыты черепицей, но сараи для скота — соломой: она давала теплоту. Дворы огораживались досчатыми заборами, а гумна и огороды — канавами. Плетней в станице совсем не увидишь, т. к. в наших краях не было леса.

Почти все казаки жили богато и были трудолюбивы. Работали много, особенно летом при уборке и молотьбе хлеба.

Трудились казаки усердно, но любили и погулять. После молотьбы, когда заканчивался трудовой год, начинались свадьбы. Семьи у казаков были большие, и у каждого, естественно, много родичей. Если не пригласишь их на свадьбу, значит, нанесешь им тяжкую обиду. Приглашенный же считал своим долгом ответить и зазывал всех на ответное угощение. Так устанавливалась очередь — к кому и когда. Каждая свадьба растягивалась на много дней, а то и до месяца. Подобное угощение не вводило семейство в большой расход, так как все было свое — покупали только спиртные напитки, а угощали казаки щедро. На свадьбах обыкновенно подавали на стол: на первое блюдо холодец с хреном, на второе — жирный борщ из бараньего мяса и к нему большие круглые «наряженные» пироги, то есть начиненные рубленой печенкой, мясом и легкими; на третье — вареное баранье мясо; на четвертое — густая лапша с гусятиной или утятиной; на пятое — тушеное мясо, или утки, или гуси, или зажаренные поросята.

На сладкое подавали «узвар» из сушеных фруктов или кисель; и под конец большие круглые сладкие пироги, «наряженные», начиненные фруктами.

Всего подавалось много — ешь! Пей! Сколько твоя душа пожелает! И хозяин и хозяюшка никогда сами не сядут за стол, не говоря уже о младших членах семьи — все они занимают гостей всяк по-своему. Старшие же обходят столы и ласково упрашивают:

— Милые, дорогие наши сваты и сватеньки, ешьте на здоровье, не стесняйтесь — всего много! Ешьте!.. Да ешьте, по-

жалуйста! Пожалуйста, дорогие сваты и свашенькн!

Свадьбы у казаков происходили исключительно весело, шумно и обязательно с несмолкаемыми песнями и безудержными плясками. В станицах почти все казаки и казачки пели и плясали свои народные песни и пляски.

Моя мать имела много родных — двух братьев и сестру Марфутку, которая часто давала мне «клочки».

У нее было два родных дяди — Поликарп и Иван Хаженцевы, и у тех — много сыновей и дочерей. Было у нее и две родные тетки, которые имели также много родных детей. Со стороны своей матери она имела шесть родных теток и три родных дяди (их фамилия Спесивцевы).

Все эти родственники жили богато, большими семьями. Каждый год кто-нибудь из родных либо женит кого-то из сыновей, либо отдает замуж дочерей. И все они всегда зовут на свадьбу всех Хаженцевых, которых очень уважали. Хаженцевы — большие песенники, и у всех хорошие голоса. Когда Хаженцевых звали на свадьбу, многие приходили во двор и под окна послушать — «как Хаженцевы будут песни играть».

Дядя моей матери, Поликарп, имел хороший голос — бас. И вот, как только он подопьет немного на свадьбе, сейчас же кричит моей матери: «А ну-ка, Машка, заводи!.. Сыграем песню!»

Наша Мать-Машка хорошо знала любимые песни своего дяди и всегда «заводила» старинную песню Кавказского линейного казачьего войска. Хотя Хаженцевы родом из Запорожья и настоящие казаки. Правильная их фамилия Хаженец. Отцу нашей матери было три года, когда в Ильинскую станицу переселили пятьдесят семейств из бывших запорожских казаков. Они заселили сразу две улицы, которые стали называться «Хохловка Верхняя» и «Хохловка Нижняя».

Несмотря на это, ее дядя любил петь первую песню линейных казаков. В станице эту песню редко кто пел. Поэтому слова этой старинной песни и я плохо помню.

У матери был сильный грудной голос (контральто), и она всегда заводила эту песню так:

Ой-да поле ж чистое, да Турецкое.
Ой-да какое же широкое, ой-да оно!
Ой-да когда ж мы, тебя, полюшко—
Ой-да, да — пройдем?

Эта песня очень тягучая. А мой дядюшка, Микитушка Хаженцев, имел очень сильный голос — высокий подголосок. И вот он, как певучий соловей, так нежно, жалобно, «поверху» выводит:

Ой-да, ой-да -а-я-и-я-ей...
Да когда же мы тебя, полюшко,
пройдем?

Дяденька Микитушка начал петь в станичном хоре с восьми лет. За пение его вся станица любила. И вот в престольные праздники он и черничка Манька Семейкина выводили подголосками: «Господи, помилуй птичку...» Или же «трно». Певцы выходили к царским вратам и пели, а в этот момент пожилые мужчины и женщины крестились и добавляли от себя — «Господи, пошли ему много здоровья в жизни».

Еще не закончат эту песню, как дядя Поликарп кричит: «Машка!.. Мы не старцы (ударение на «ы»), чтоб доводить песням концы. Заводи другую...»

И мать моя заводит другую, тоже его любимую, запорожскую:

Ой ты Мороз, Морозэнько,
Мороз, славный козачэнько
За тобою, Морозэнько,
Вся Вкраина плаче..
Ой нэ так та Украина,
Як тэ храбрэ, гордо Війско
Заплакала Морозыха,
Идучи до дому
Ой нэ плачь ты, Морозыха,
Ой нэ плачь ты, не журыся,
Пойдем с намы, с намы, козаками,
Мэд-горілку пыты!
Ой чего-сь міні, мылі братцы,
Мэд-горілочка нэ пьетця,
Коло моїх вороточок
Казак з ляхом бьетця
Ой нэхай він бьетця
Нэхай він рубаетця,
Из-за горы, горы за крутої
Храбрэ війско, війско выступае
Из-за горы, горы за крутої
Храбрэ війско выступае.
Попэрэду Морозэнько —
Серым, серым конэм грае...

Дядя Поликарп опять кричит:

— Машка, заводи еще!

Моя Мать-Машка на этот раз крепко сжимает пальцы правой руки в кулак, поднимает правую руку вверх и, как вахмистр перед сотней плетью командует, — управляет песенниками, так и она заводит песню с поднятой рукой:

С Богом, кубанцы, не робея,
Смело в бой пойдем, друзья!

И все подхватывают:

Бейте, режьте — не жалея
Басурманина, врага.
Там далеко, за Балканы,
Русский много раз шагал,
Покоряя вражьи страны,
Гордых турок побеждал.

«Так идем путем», а когда доходило до слов «да прадедов», то мать своим грудным низким голосом так придавит книзу и с таким умелым вывертом, твердо, по-командному, выговорит слова:

да прадедов,
лавры, славы добывать.
Смерть за веру, за Россию —
Можно с радостью принять...

Все прислушивались к ее голосу, а сидящие кругом мужчины говорили: «Ну и дьявол эта Машка... Недаром отец дал ей кличку азият! Вот уж молодец!»

А женщины говорили так: «О, Господи, Боже мой, и как это она умеет так управлять своим голосом.. Вот уж молодец так молодец!»

А дядя Поликарп кричит опять: «А нука, Машка, заводи еще одну!» И мать заводит старинную запорожскую песню:

Ой гук Маты — гук..
Дэ козаки йдуть...
Та вэсэлая та доріженька —
Куда воны йдуть..

Эта песня получалась у моего дядюшки Микитушки очень печальной. И всех хватала за сердце. Мужчины и женщины слушают эту песню внимательно, в особенности пожилые казаки, опустив свои седые, белые, как ковыль, бороды. При этом иной начнет крутить свой посеребренный старостью ус, а другой зажмет в кулак свою окладистую длинную седую бороду, и что-то себе под нос мурлыкают — не то чтоб пособить Хаженцам петь песню, не то вспоминая свои минувшие молодые годы, как когда-то летали они с обнаженными шашками на своих резвых конях под лихое казачье «ги-й!» в атаку на басурман.

Эта песня почему-то действовала на пожилых казаков сильнее, чем другие песни.

Все уже порядком выпили. У некоторых на глазах слезы. Чтобы переменить настроение, кто-то кричит: «Давай гармониста!» В те времена в станицах были двухрядные и трехрядные гармони. В 1912—1913 гг. появились модные танцы: «полька» и «вальс», и гармонист уж обязательно их заигрывает. Молодежь увлекалась ими и сразу выходила танцевать.

Но пожилые люди этих танцев не любили. Особенно наша мать. На эти танцы она смотрела с большим презрением и говорила: «Ну, что это за танец? Это каждая репаика-дыня станцует. То ли дело вдарить казачка с удалым казаком или краковьяк. Вот это, я понимаю, пляски!»

Тут старики начинают кричать: «Гармонист, играй казачка!»

Гармонист вдарит казачка. Старики начинают выкликать имена: «Донька, Марфутка, Аксютка, Дашка, Наташка, чего стоите? А ну, вон с Максимом, Иваном с Гришкой, с Тишкой, с Микишкой, выходи! Выходи на пару! Пляшите!»

По пожеланию стариков выходили и плясали на пару. Но были плясуны, которые танцевали поодиночке.

Дядя Поликарп меж тем смотрел на плясунов и думал: «Обождите, вот Машка выйдет — она вам покажет, как надо плясать «казачка»!» Он своей племянницей Машкой, нашей матерью, так гордился и считал ее лучшей плясуньей в станице Ильинской. Она была веселая: и петь, и плясать за компанию, и выпить была мастерица.

Моя мать была азартная плясунья. Она уже дрожит и ожидает — когда дядя Поликарп прикажет ей выступить, потому что дядя гордился ею как плясуньей и тем, что она выйдет танцевать по его приказу. И вот вдруг слышится голос большого баса:

— А ну-ка, Машка, выходи, спляши! — И тут же крикнет на какого-нибудь молодого парня лет 19—20, которого он сам подобрал ей:

— Ты, Козьма, выходи плясать с Машкой!

А наша Мать-Машка — ей уже за тридцать — стоит и ждет. Дядя вновь кричит, командует:

— Дайте больше круга! Расступитесь, расступитесь! Машка плясать будет!

Мать выйдет и даст гармонисту наказ сыграть ей малороссийского казачка, а сама вытянет из кармана платочек, станет перед своим кавалером и с улыбкой пошлет ему вызов:

— Ну что, вдарим, докажем? — и при том сильно топнет ногой об пол, и потом пойдет по кругу так быстро и плавно, что от 3—4 юбок, которые на ней, все разлетается в сторону, в воздух. Потом начнет выбивать всякую дробь — вперед, назад, в стороны. Кавалер в это время делает присядки, а она руки в боки и плывет павою над кавалером. Потом притопнет ногой и вскинет голову вверх — дескать, вот тебе! И подхватив обеими руками свои широкие юбки, и приподняв их до коленей, сама пойдет плясать вприсядку, и при этом так засвистит, как у нас на пастбище в степи свистали чабаны или табунщики. Этим молодецким свистом она заканчивала свою пляску и побивала всех. Окружающие начинают смеяться, хлопать в ладоши и кричать:

— Браво, Машка! Браво, азият!

Она любила иногда сплясать так, как плясали мужчины-казаки. Умела она скакать и на лошади без седла. Вообще она была очень смелая на все.

Я уродился, видимо, немного в мать. Любил танцевать. На свадьбе или на уличных гулянках, если увижу, кто хорошо пляшет, и мне это понравится, прихожу домой, захожу в клуню и немедленно же начинаю выделывать эти «па». Немало огорчений доставлял я матери, когда «выбивал» земляной пол в доме.

Я и тогда, будучи парубком, в нашей станице довольно хорошо танцевал казачьи танцы, но при матери никогда не выступал: стеснялся ее и даже боялся ее критики, так как она была очень живой и очень расторопной во всем — и в танцах, и в работе, все видела, все знала. Если что не так сделаешь, никогда не смолчит: расскажет, покажет, научит, а если не поймешь или что не так сделаешь — тут же даст подзатыльник. Умная, хорошая, примерная во всем была наша дорогая мать. И до всего-то она была способна. В 1896 году, когда она выходила замуж, ее дядя Поликарп подарил ей к свадьбе швейную машину «Зингер». И она шила на ней рубахи, штаны, бешметы, куцайки, башлыки, зипуны, шубы. Шила она нам и папахи и учила тому же нас — своих детей. Мы вязали чулки, варежки, перчатки, плели веревки и путы для лошадей. Я выделывал кожи и делал ремни для упряжи, плел даже арапники. И всему этому обучила нас наша мать-вдова.

Нам всем не раз попадало от нее и по рукам. Особенно мне, как старшему. В зим-

ние вечера все мы сидим вокруг матери и что-нибудь делаем — работаем. И каждый вечер она играла с нами песни. Любила больше украинские, и тут больше, чем другим, доставалось мне.

«Гаврюшка... Куда полез? Куда тянешь? У тебя никакого слуха нет. И в кого ты уродился, бестолочь! Уйди и не мешай нам играть»... — часто говорила она мне.

Мы жили на окраине станицы, у выгона. Весной и осенью там часто останавливались со своим табором кочующие цыгане и оставались на 2—3 недели. По вечерам у своего костра они хорошо пели свои песни. И красиво, «увертливо», с разными выкрутасами, танцевали парни. Мы, ребятишки, крали дома яйца и носили им. А они развлекали нас песнями, танцами и плясками. Мне их пляски так понравились, что и я научился от них разным их выкрутасам. И ногами, и руками и по голове, и по рту бить ладошами, и даже «выкобеливать» на пузе.

Об этом узнала мать, и однажды, когда я пришел с вечеринки, где особенно отличился перед девчатами своими цыганскими плясками, мать схватила ремень, оттянула меня им несколько раз и говорит:

— Ах ты, подлец!.. Да ты и цыганом заделался? А? Ежели еще раз услышу, что ты будешь плясать по-цыгански, запорю тебя, подлеца!..

Я больше по-цыгански не танцевал.

Наша мать была такая ретивая казачка, что признавала только весь старый уклад казачьей жизни. И уклоняться от этого уклада было не положено.

У нас, у линейцев, казаки очень коротко стригли волосы на голове, а некоторые даже брили головы. Мать сама стригла нас, а иногда, если я хотел, брила голову и мне.

В 1916 году у нас в станице откуда-то появилась мода: парубки стали отращивать волосы на голове и спереди делали кудри, что очень нравилось девчатам. Эту моду безусловно привили нам парубки — мужики, жившие в станице, поздно женившиеся и потому форсившие.

У меня волосы вьющиеся, и я решил тоже завести кудри. Осенью, после пахоты, приезжаю домой, мать, увидев меня, говорит: «Ты уже висками оброс. Давай я тебя остригу».

Я ей ответил: «Завтра острижешь, мама».

А вечером на улице я условился с ребятами, с теми, кто уже отпахался, что завтра же поедем в степь, на кочевку, пасти лошадей до первого снега. Снег же у нас выпадал в середине декабря.

На второй день мы выехали на кочевку, верст за 20 от станицы, к реке Челбасы. Там мы разбили три больших брезентовые палатки: в одной лежали хомуты, в другой мы спали, а в третьей обедали и играли без конца в карты, под спички, в «гарбу».

Там же мы устраивали между собой и скачки — чья возьмет, и обламывали под верх лошадей-двухлеток. Каждое воскресенье, по очереди, ездили в станицу за провизией. Чтобы не показаться матери с длинными волосами, я умышленно ни разу не поехал в станицу, зная, что мать моментально острижет меня, и тогда я не смогу завести свои кудри, которыми, я не сомневался, буду покорять сердца девчат.

В декабре начались холода. Надо возвращаться домой. Мой друг Иван Полянец побрил мне голову, но оставил спереди от уха и до уха. Брильянтина под рукой не было, и я смазал свои волосы машинным маслом и завил их «гребешком». Получилось очень красиво, как курчавый хвост у селезня. И мне это так понравилось, что я не отрывался от зеркала и все любовался сам собою и наддавал себя мечтой, что с такими кудрями я найду себе хорошую невесту. Я мечтал, что теперь безусловно покорю всех девчат, и что вот с такой-то, с самой красивой, буду стоять. (Стоять — значит быть наедине с девушкой, обнимать ее и целовать, не больше; это бывает тогда, когда парубок и дивчина нравятся друг другу и мечтают пожениться).

Недели за две до Рождества, в субботний день, мы все вернулись в станицу. Приехал домой и я, распряг лошадей, завел их в конюшню и вошел в дом. Увидев меня, мама заволновалась, аж переменилась в лице. Мне она ничего не сказала, и я подумал, что это потому, что я весь забрызган грязью. Она дает мне чистое белье и говорит:

— На белье, переоденься, да хоть немножко холодной водой себя сполосни!

Сказала это, а сама что-то косо на меня посматривает. Сели за стол ужинать. Мои братишки и сестренка, увидев мои кудри, пришли в восторг. Они лезут ко мне и хотят их погладить. Мать же сидит и не говорит ни слова.

Потом таки не вытерпела.

— Что? Нравится с мужиками жить? Так иди к ним, живи!.. Живи на Кривуше, там свой будешь!

Кривушей у нас называлась улица, где жили почти одни мужики, то есть иногородние.

Я стараюсь как можно скорее поесть и уйти из-за стола, ничего не отвечая матери. Мать говорит:

— Завтра пойду к обедне, возьму с собой Саньку (сестренку). Обедать дома не буду. После обедни зайду к Матрехе, а вы тут сами без меня пообедайте.

Вечером я пошел на улицу к ребятам и думаю про себя: «Стой! Мама как будто свой тон смягчила... Значит, разрешит кудри носить».

Подошел я к хороводу, где были девчата и ребята. Все девки увидели мои кудри, сразу ими залюбовались:

— Ах, Гаврюшка! До чего ж красивые у тебя кудри! И тебе они даже идут!

И каждая девка старается потрогать их руками и погладить. И Катьке Гис мои кудри понравились, и она погладила их рукой

разочка два. А я думаю про себя: «Попалась... Вот чем я тебя завоюю!».

Катька Гис мне очень нравилась. Но одна была загвоздка: я не нравился Катьке, и она никогда не хотела идти со мной «стоять». На этот же раз я вижу, что нравлюсь ей, и думаю: дай-ка я попробую закинуть удочку через Катькину двоюродную сестру Нюрку Гис, не пойдет ли Катька сегодня «стоять» со мной? Запуск «пробного шара» удался: Катька согласилась, и через час я встретился с ней, и мы вдвоем просидели до полуночи.

Вернувшись домой, лег спать один в горнице и стал мечтать: «Ну что ж, ежели правда, что Катька влюбится в меня и я на ней женюсь, то нарожает она мне детей, сыновей, да столько же, сколько их у ее матери. И все они будут такие здоровые, красные, сильные, как ее братья». А Катька имела семь родных братьев. Все были рослые, стройные, красивые и богатырски сильные. Все скромные, не пили, не курили, никого грубым словом не обругают, их никто никогда пальцем не тронул, так же, как и они не тронули никого. Вообще вся их семья была в большом почете в станице.

Так вот я себе лежу и мечтаю, что женюсь на Катьке и она мне нарожает таких сыновей, как и ее братья. Тогда я со своими сыновьями буду победителем на всех станичных кулачках. Я до того размечтался, что не помню, когда и как заснул. А заснул я очень крепко и вижу сладкий-пресладкий сон. Будто я снова пошел с Катькой «стоять», зашли мы оба к ним на огород. Подошли к скирде соломы, крючком я надергал соломы из скирды и разостлал по земле. Катька села на солому, а я лег рядом, положив свою голову на ее колени. Лежу и разговариваю с ней. А она в это время своими милыми пальчиками забавляется моими кудрями, то их разовьет, то вновь закрутит. И мне это так приятно, и так сладко лежу, «панствую» во сне, и вдруг в этот момент я услышал голос матери и в испуге вскочил с кровати. Смотрю, мать стоит возле и говорит:

— Иди, дай корму худобе... А то не разбуди тебя! Так будешь весь день спать!

А мне в это время все еще мерещилось, будто я действительно нахожусь с Катькой и мать меня захватила с нею. И будто Катька все еще сидит здесь. Мне было так стыдно перед матерью, что я схватил штаны, шапку и полушубок — все в охапку и выскочил во двор. На дворе меня охватил свежий воздух, и только тогда я очнулся и понял, что это был только сладкий сон.

Дав худобе корму, вернулся в дом. Мать уже ушла в церковь. Я лег опять спать. Вновь заснул крепко и сладко. Проспал время обеда. Братишки уже покушали. Ко мне пришли друзья, человек пять, и будят:

— Гаврила, довольно спать, вставай!

Я сразу вскочил. Вдруг все залились смехом. Я смотрю на них и спрашиваю:

— Чего ж вы ржете, как жеребцы?

А они опять заливаются смехом и говорят мне:

— Да ты посмотри в зеркало на себя. Ты похож на облезлую кошку.

Я глянул в зеркало и что же увидел: мои чудесные кудри острижены стежками в шести местах наголо. Вот он сон, стукнуло мне сразу же в голову: вместо милых Катькиных пальчиков мать играла ножницами с моими кудрями, когда я так крепко спал.

Я достал бритву и попросил одного из друзей обрить мне голову наголо. Пропали мои мужицкие кудри.

К полудню вернулась мать с теткой Матрехой. Тетка Матреха — жена дяди фельдшера Солодухина, который в то время был на турецком фронте. Мать позвала полудничать. Увидела мать, что я уже побрил голову, и говорит:

— Давно бы так. Теперь ты настоящий парень. А то мужиком хотел заделаться, не пойму, в кого ты у меня уродился? Ведь отец твой такой был гордый казак, и всех этих пришельцев мужиков терпеть не мог. А ты? Вот окаянный! Только один такой в семье уродился! То цыганом хотел заделаться. Гаврюшка!.. Предупреждаю тебя в последний раз, чтобы ты все свои коники (выдумки) выкинул из головы!

Но за меня вступилась тетка Матрена и говорит матери:

— Да брось ты, Николаевна, нападать на него. Ведь всем молодым хочется что-то новое испробовать. На то они и молодые.

— Нет, Матреха, — отвечает мать, — ты в мое положение не входишь, ты живешь наравне с мужиками, с иногородними. У тебя только две дочери. Муж — фельдшер. Вы не пашете и не сеете, хлеб не убираете, худобы не имеете. Ни заботы, ни печали, — ничего вы не знаете. А у меня кругом забота и печаль. Надо всякое дело до конца довести. Землю вспахать хорошо, вовремя Божий хлеб скосить. Надо хлеб вовремя и с поля домой свезти, обмолотить, да еще за худобу сердцем болеешь. Глаз со всего не спускаешь, за всем смотришь. Заболеет скотиняка или лошадь, и ты за них болеешь душой. Сдохнет какой-нибудь шелудивый поросенок, и я слезы лью, потому что хозяйству урон. И так круглый год. Времени не хватает порванные штаненки детишкам залатать. А мужикам что? Они лето отработают и всю зиму лежат, вверх ноги задрав, и в потолок поплевывают.

Тетка Матреха выслушает это и скажет:

— Давай Гаврюшке гармошку купим.

А моя мать как крикнет на нее:

— Да ты что, Матреха, с ума что ли сошла? Кто же тогда за худобой будет смотреть? Ведь его тогда от гармони не оттянешь. Да и какой с него гармонист будет? Ведь он совсем без слуха!

Гармошка все же была теткой куплена. Увидев ее, мать головой закрутила. Дня три-четыре я то и дело растягивал свою гармошку, особенно по вечерам. И все время «пилил» одно и то же: тарды-тарды. А мать

посмотрит на меня и снова закрутит головой от неудовольствия.

Прошло несколько дней. И вот в одно утро, встав с постели, я пошел взять худобе корму. Быстро это сделав, вернулся в дом, взял гармошку и опять завел свое: тарды-тарды. Мать заметила, что я что-то очень скоро вернулся с базов и пошла проверить — все ли там в порядке? И всем ли животным я задал корму? Обнаружила, что овцам-то я и позабыл дать сена. Вернувшись, и не говоря ни слова, она хвать гармошку из моих рук — и р-раз, р-раз, швырнула ее в печь, в которой ярко горели кизяки. Мою гармошку охватило пламенем. И в то же время мать щелк меня по затылку и крикнула:

— Иди, подлюга, овцам сена дай.

Я пулей выскочил из дома. Пропала моя музыкальная карьера. Вот как мать-казачка воспитывает своих детей.

Осенью семнадцатого года мне пошел восемнадцатый год. Мать решила меня женить. Услышал об этом Федя Иванов, очень богатый казак нашей станицы. Он имел две двенадцатисиловых паровых молотилки, до дюжины хороших упряжных лошадей и красивого орловского рысака. У него одна-единственная дочка Леночка. Он хотел выдать ее замуж. Но с условием, чтобы зять после свадьбы перешел жить в его дом.

Он думал, что наша мать вдова, с небогатым хозяйством, с удовольствием отдаст своего сына к нему в зятья. С таким планом он и подлетел к нашему дому на своем рысаке орловской породы.

Мать знала его хорошо, еще с детства. И они были друзьями. Она любезно пригласила его в дом. Войдя в дом, Федя Иванов объяснил матери, зачем он приехал. Своим предложением он так обидел мою мать, что она закричала:

— Да за кого ты меня считаешь, что я, русская мужичка, что ли? Я не дожила до такого позора, чтоб сыны мои пошли жить под чужой фамилией и под чужой крышей! Народи себе сыновей. А теперь убирайся «под черты» вон с моего двора!

Так поступила казачка, вдова и мать с шестью малолетними детьми и небогатым хозяйством. Разве это не пример казачьей гордости? Разве это не гордость казачки?

И вот эта несчастная вдова, родимая наша мать, только почувствовала облегчение в своей хозяйственной жизни, потому что ее маленькие дети стали подрастать и дружно, с охотой браться за работу, сеять и пахать, как над нашей родиной нависла лихая година: пришел роковой семнадцатый год. Как бомба взорвалась революция, и полилась рекой братская кровь. Власть захватили большевики. Но гордое казачество не признало над собой этой власти. Казачество восстало; оно хотело спасти свою родину. На юг, на донскую казачью землю, бежали из красной России генералы, офицерство и другие русские люди, не пожелавшие остаться с большевиками. Здесь они сформировали Добровольческую Армию и совместно с казачьими войсками Дона, Кубани, Терека и Астрахани сражались с большевистскими войсками с тысяча девятьсот восемнадцатого года до конца тысяча девятьсот двадцатого. К ноябрю 1918 года наши освободили от красных Дон и Кубань, а в начале девятнадцатого года освободили Терек и весь Северный Кавказ.

В 1919 году я подлежал мобилизации по своему Кубанскому войску. Я так хотел служить в кавалерии. Того же хотела и моя родная мать. Она никогда не хотела унизить своего первого сына перед другими станичниками, чтобы оставить его в пластуны. Она продала 8 овец (у нас их было 15), две свиньи, корову и несколько чувалов пшеницы. Так она наскребла 500 рублей, да еще брат дал сто рублей. Мать и говорит мне:

— Вот тебе деньги, сынок, купи себе строевого коня.

И она попросила своего старшего брата выбрать мне подходящего коня. Брат ее был моим крестным отцом, и отдавал мне свое седло и шашку. С ним мы объездили многие базары, но в то время уже не могли купить за такие деньги годного к строю коня. Последний раз мы поехали с ним в соседнюю от нас станицу Калнн-Болотскую. Ейского отдела, находящуюся в 40 верстах от нас. Но там самый дешевый из найденных нами строевых коней стоил 750 рублей. Да и такой конь был самым обыкновенным, среднего качества.

Я вернулся с базара разочарованным и чуть ли не со слезами на глазах рассказал матери о ценах на строевых коней. Мать расплакалась и стала меня просить:

— Милый мой сыночек! Войди в положение своей бедной матери. Ты сам видел, как я старалась тебя справить, снарядить в кавалерию. Все, что я могла продать, все продала. Не могу же я продать последнюю корову или упряжную лошадь. Ведь я добивалась, чтобы у нас была своя упряжка в букарь — четыре лошади... А продать одну, значит, опять спрягаться с людьми... Прошу тебя, сынок, — пожалей свою мать. Иди в пластуны. Вот сейчас ходи на занятия — пеший, а когда вас будут брать на фронт — иди в корпус легендарного нашего героя Шкуро. Вон твой кум, Костик Мамонов, пришел домой раненый. Когда он выздоровеет и опять пойдет на фронт к генералу Шкуро, и ты с ним поезжай. Там тебе дадут коня и седло. Костику же дали! А он тоже ведь был пластун. Вот и ты будешь там в кавалерии.

Закончила так наша дорогая мать-вдова, казачка. Мне так не хотелось быть пластуном! И еще в своей станице, на виду у всех ходить пешим... Ведь я с раннего детства был смелый и отчаянный на лошади!

Но что я мог поделать? Видимо, судьба уж моя такая. И я согласился идти в пластуны.

Продолжение следует.

Петр Придиус

Петр Ефимович Придиус родился в 1932 году на Кубани. Выпускник МГУ, работал в районной, областной и краевой печати, на Казахстанском радио. В 1974—1980 годах — в Краснодарском крайкоме КПСС. В течение десяти лет работал заместителем главного редактора альманаха «Кубань», в настоящее время редактор газеты Краснодарского краевого Совета народных депутатов «Кубанские новости». Член Союза журналистов СССР, лауреат премии имени Ставского, автор книг «Заветное поле», «Отрадненское предгорье», «Родное».

Первые главы повести-хроники «Звездопад» («Была ли медуновщина?», «Мой сын спрашивает...», «Ямщик, не гони лошадей...» и другие) начали публиковать в альманахе в 1989 г.

«ЗВЕЗДОПАД»

ПОВЕСТЬ-ХРОНИКА О ТОМ, ЧТО С НАМИ БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ И ЧТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ

ОПАЛЬНЫЕ КНИГИ

Когда на пост заступает новый начальник, людей первым делом заботит, какой он — его характер, компетентность, привычки, слабости, привязанности... Все кажется важным, и потому любая новость о начальнике тотчас становится всеобщим достоянием, обрастая порой и домыслами.

Рассказывают: когда Медунов пришел в крайисполком, сразу поразил всех своей начитанностью. Вышло это вроде само собой, без видимых усилий с его стороны. Процитировал к случаю одного писателя, вспомнил другого, люди смекнули: читает. А в один из вечеров случилось нечто невероятное. Уходя запоздно домой, он заглянул к ответственному дежурному, чтобы попрощаться, и обнаружил у того в руках раскрытую книгу. Читайте, читайте, успокоил он смутившегося дежурного. Что-нибудь интересное? Да? А не могли бы вы, когда прочтете, дать мне на пару деньков?

Дежурный — то был инженер отдела механизации Адольф Степанович — тут же пожелал уступить книгу начальству: возьмите, пожалуйста, у меня от сна есть другая, а эту я уже, собственно, закончил.

Дня через два, словно снег среди лета, Медунов возник на пороге отдела механизации собственной персоной. Сотрудники буквально оторопели: подобного никогда еще не бывало. После минутного знакомства, будто и не замечая общего замешательства, поблагодарил Адольфа Степановича за книгу, дескать, интересная, хотя и не без изъянов — назвал несколько эпизодов и добавил: лично знаком с автором, ожидал от него большего... С тех пор кое-что из приобретаемых дефицит в книжном киоске сам начал почитывать...

Но самое интересное случилось позднее, на одном из заседаний бюро крайкома. Когда уже были обсуждены все запланированные вопросы и «первый» (Г. С. Золотухин) по обыкновению спросил: «У кого что есть, товарищи?», заговорил Медунов. «Есть, Григорий Сергеевич, один вопрос, прямо не относящийся к теме нашего заседания, но очень важный, и, на мой взгляд, обойти его молчанием нельзя. Я имею в виду публикацию в журнале «Октябрь» романа Бабаевского «Современники». Это же откровенная клевета на советскую действительность, в частности, на партийных и советских работников. Скажу больше — в романе явно просматривается, наша Кубань: и краевой центр, названный автором Южногорском, и даже центральная улица Красная — думаю, все вы знаете, среди краевых и областных городов страны только у нас, в Краснодаре, она называется Красной, а теперь, видите ли, Красная и в вымышленном Южногорске. Скажу прямо, Григорий Сергеевич, это не роман, а пасквиль, карикатура на наш

Продолжение. Начало в № 8—10 за 1989 г., 10, 12 за 1990 г.

дважды орденоносный край, это плевок в душу всем его жителям...».

Скупой на эмоции, «первый» саркастически скосил рот:

— И описывал бы этот Бабаевский свое нищее Ставрополье, так нет же, норовит лягнуть богатую соседку... Кто еще читал роман?

Молчание.

— Что, никто?

Скользнул взглядом по лицам, невольно задержался на своем любимце, заведующем отделом пропаганды, в отсутствие, по причине болезни, секретаря по идеологии исполнявшем фактически и его обязанности. Тот смущенно опустил голову.

— Кто, спрашиваю, кроме Сергея Федоровича, читал роман? Никто? А вы, товарищ Красюк? — «Первый» прицельно уставился на редактора газеты «Советская Кубань». Уж вам-то непростительно. Выходит, председатель крайисполкома знает, что творится в литературе, а редактор нет? Никуда не годится. Давайте поступим таким образом: поручим товарищу Красюку прочитать роман и выступить в газете с обстоятельной статьей, надо дать достойную отповедь автору этого, как вы сказали? ну, да... пасквиля.

Предложение было принято единогласно.

Вскоре два журналиста выступили в краевой газете с большой и не очень умной рецензией, озаглавленной «Многообразие жизни и позиции писателя». Но еще до этого слух о разговоре на бюро по проблемам литературы разнесся по городам и станицам. Журнал зачитывался, за ним выстраивались очереди, так как в целом средненький и серенький роман, который нуждался-таки в серьезном критическом разборе, стал на какое-то время бестселлером.

С появлением разгромной рецензии ажиотаж еще более усилился. Мне приходилось слышать, как партийные работники районного звена оспаривали друг перед другом приоритет: «Бабаевский описал наш райком», «Да нет же, не ваш, а наш, у нас по району все один к одному сходится...». Остряки втихую ехидничали: а Сергей Федорович за предкрайисполкома Тараскина, наверное, обиделся, как две капли воды — он...

Видимо, Бабаевскому и в самом деле удалось запечатлеть что-то характерное из нашей жизни, коль многие угадывали в романе, словно в зеркале, самих себя и своих знакомых, и, естественно, он заслуживал определенной признательности, прежде всего, со стороны кубанцев, которым как-никак одним из первых в стране удалось получить предварительный диагноз социального заболевания по имени застой... Однако официальная реакция была резко отрицательной и незамедлительной. Помимо напечатания разгромной рецензии, было решено информировать Союз писателей относительно того, что неоднократный сталинский лауреат, известный лакировщик советской действительности Бабаевский превращается в ее яростного очернителя...

Условились также о принятии превентивных мер: отныне кубанец по рождению, проживающий в Москве, писатель Семен Петрович Бабаевский признавался по существу персоной нон грата на Кубани. Негласно, конечно. Кое-кому даже дача его на Черноморском побережье, близ Лазаревского, представлялась теперь чем-то вроде бельма на глазу.

Помню, популярный местный поэт примчался в крайком с телеграммой от Бабаевского, тот проездом на море испрашивал аудиенции у первого секретаря крайкома (хотел объясниться?), а заодно просил забронировать на день-два номер в гостинице. По заведенному порядку я поставил в известность об этой просьбе своего заведующего. Он велел зайти к нему, но пока одному, без поэта. Встретил меня с недоумением: «Бабаевскому прием у Сергея Федоровича? Да вы что!.. Да вы только подумайте! Удивляюсь вашей, извините, наивности и беспринципности...».

А я твердил свое: «Но это же Бабаевский, его знает вся страна, и вообще как можно?.. Прошу вас, Николай Петрович, иначе позор ляжет на нас с вами!.. Попытайтесь».

Заведующий поднял трубку телефонную, изложил секретарю-идеологу суть дела и, кивая в такт головой, стал повторять: «Да, согласен. Да, согласен...» Положив трубку, «перевел» мне свой разговор: «Аудиенции не будет, гостиницы тоже, если хотят наши писатели, пусть берут к себе домой, не возражаем...»

То было начало конфронтации руководителей дважды орденоносного края с писателями, дерзнувшими вслух заговорить о пятнах на кубанском солнце.

Очередной жертвой их благородного гнева стал столичный публицист, тот самый, что открыл нам посредством Центрального телевидения «Архангельского мужика». Он опубликовал в журнале «Дружба народов» художественно-документальную повесть «Трое в степи», целиком построенную на кубанском материале. Главный герой повести — родоначальник бригадного подряда в стране Владимир Первицкий, имя которого, как подлинного новатора-хлебопашца, широко известно и у нас, и за рубежом. Ярко изображены и его сподвижники по смелому эксперименту, в частности, ученый-экономист Александр Еркаев и публицист Анатолий Иващенко. Поступок москвича Иващенко, в ту пору корреспондента «Комсомолки», вообще уникален: желая лично удостовериться в преимуществах новой технологии выращивания

пшеницы, он в течение десяти лет, с весны до осени трудился вместе с Первицким в поле в качестве рядового.

Автор повести поведал читателям об этих неукротимых энтузиастах, а заодно о непростых проблемах кубанского (а значит и всесоюзного?) земледелия. Гордиться бы да радоваться кубанцам, ан нет, обиделись. А причина — автор ненароком задел больную для Медунова тему уничтожения сорняков. Как и всему, за что ни брался Сергей Федорович, проблеме повсеместного уничтожения сорной растительности был придан колоссальный партийный и государственный размах. И справедливости ради следует сказать: немало полезного было сделано, особенно в борьбе с амброзией, злейшим возбудителем аллергии. Но с амброзией покончить так и не удалось, а вот девять видов растений окончательно истребили, на грани полного исчезновения еще тринадцать, итого — двадцать два и, как оказалось, все до единого... из Красной книги.

Вот об этом-то, с юмором и сарказмом, и рассказал в своей повести столичный публицист, чем и вызвал сокрушительный гнев Медунова и его команды. Моментально была сочинена статья-отповедь «Певец соломенной Росси», услужливо опубликованная одним из отраслевых журналов.

Поскольку журнальный вариант повести «Трое в степи» не имел большого распространения, ее, в отличие от «Современников» Бабаевского, не стали публично предавать анафеме, видимо, руководствуясь библейским: запретный плод... Но упредительный удар все же нанесли, негласно повелев: по выходе повести отдельной книгой ни один ее экземпляр не должен попасть на Кубань! Руководители торговых организаций свято, по их заверениям, исполнили это строжайшее указание, действительно не закупили ни одной партии этой книги. Но не быть бы им торгашами, не сделай они для себя невинного исключения. «Мы ж тоже люди, нам тоже хочется...» — услышал я под величайшим секретом, принимая из рук в руки, при закрытых дверях у себя в кабинете от директора книготорга экземпляр опальной книги. И прелюбопытнейшее сетование: «Мы с десяток завезли, женщины сразу накинулись, но обожглись: там, оказывается, ни слова о любви...».

Нет, дорогие, та повесть тоже о любви — о любви вечной, преданной, страстной. О любви человека к земле, отчему крову, к делу всей жизни... И вот такая книга поступила в край лишь годы и годы спустя, когда интерес к ней за давностью событий сошел почти на нет. Как говорится, всякому овощу...

Опале подвергались не только книги и их авторы, но порой и герои, как случилось с одним из тех, кого изобразил публицист в повести «Трое в степи», а именно — с Анатолием Иващенко. Этот острейший публицист-аграрник, бывший фронтовик, которого ныне знают миллионы телезрителей по смелым, актуальным репортажам и фильмам, представлялся мне истым кубанцем: столь заинтересованно пекся он о гордости и достоинстве наших хлеборобов. Но когда мы разговорились с ним на его московской квартире, Анатолий Захарович почти с сожалением сознался: «Нет, не кубанец я, полтовчанин, но для Кубани я все ж кое-что сделал, и она вот тут у меня, — он прижал правую руку к левой груди, — а осадок, знаешь, остался горьковатый. Вашу Кубань я исходил и изъездил из конца в конец, сколько земельки перебрал вот этими руками, колосков, зерен, болтов, гаек, а в ответ — черная неблагодарность...»

— Вскоре после публикации повести «Трое в степи», — продолжал Анатолий Захарович, — приезжаю в Краснодар и прямо с вокзала куда? Конечно, в крайком, к уважаемому вашему Идеологу, как-никак по роду своей деятельности тоже журналист. Только я на порог, он очи к небу, да такие, представь, ну, с куриное яйцо, не меньше: «Ты?! К нам?..» — «Да, — отвечаю, — к вам, соскучился...» — «А мы, — усмехается, — между прочим, не соскучились!» Думал, шутит, оказалось — нет, уже камень в мой огород запустил... Я ему об аудиенции к «первому», а он в амбицию: «Какая аудиенция, ты вон на, почитай, у нас на тебя досье...». Вынимает из сейфа папку «А. З. Иващенко», раскрываю — бог мой: уважаемые люди, ученые и механизаторы, и такую белиберду про наши опыты сочинили... И главное — люди из разных районов, а тексты почти под копирку, значит, кто-то дирижировал? Неужели крайкомовцы?.. Меня, знаешь, гнев разбирает, а этот уважаемый секретарь, не скрывая, злорадствует: «Это еще не все...»

Многотрудной, — правда, по совсем иным мотивам, — оказалась и судьба мемуарной книги адмирала Холостякова «Вечный огонь».

Летом 1971 года адмирал Г. Н. Холостяков гостил на Кубани с пропагандистской бригадой, в которую вошли легендарные «двойники» Александра Матросова, Виктора Талалихина, Николая Гастелло — люди, повторившие их подвиг и чудом оставшиеся в живых. То была, пожалуй, единственная на свете такая бригада. Мне посчастливилось присутствовать на ее выступлениях, а затем иметь продолжительную беседу с адмиралом. Разговор шел в основном о битве за Новороссийск, в которой Георгий Никитич принимал участие с первого до последнего дня в роли главного действующего лица — командира Новороссийской военно-морской базы. Ему фактически подчинялись все морские и сухопутные подраз-

деления, действующие в районе Новороссийска, с чем связан, кстати сказать, и такой любопытный факт: Холостяков единственный в Советском Союзе, как он выразился, моряк, удостоенный «сухопутного» ордена — ордена Суворова. Георгий Никитич формировал и благословлял на смертный подвиг отряд Цезаря Куникова, помнил в лицо других героев, живо воспроизводил военную обстановку, называл даты, события, имена.

— А почему, — спросил я, — обо всем этом не написать?

— Написал, — отвечает.

— Где можно прочитать?

— Нигде: кто такое будет печатать?

— Почему? — удивился я.

— Очень просто, в моей рукописи отсутствует... Брежнев.

— Вы что, не ладили с ним в дни Новороссийской операции?

Адмирал гордо вскинул голову и резко, широко развел руками: не знал я такого!..

Размышляя над его последними словами, я понял, почему в издательствах мариновали рукопись, почему впоследствии, в докладе на торжественном митинге в Новороссийске по случаю вручения городу Золотой Звезды Генсек даже не упомянул Холостякова, хотя тот сидел в президиуме. Вот уж воистину: свадьба без жениха.

В конце концов книга адмирала Холостякова «Вечный огонь» вышла в Воениздате, разумеется, позже «Малой земли», и на отдельных ее страницах, чуть ли не кровью автора была вписана фамилия «нашего боевого товарища и однополчанина, бывшего начальника политотдела славной 18-й армии, а ныне...». Эти вкрапления выглядели довольно чужеродно, что предопределило и трудный путь книги к читателю. Никаких отзывов или рецензий, полное умолчание. Более того, выпущенная стотысячным тиражом, она не дошла до многих регионов страны, в том числе и до Кубани. И лишь по требованию, кажется, совета ветеранов Новороссийска в город целевым назначением, минуя Краснодар, была направлена небольшая партия книги «Вечный огонь».

Война продолжалась. Теперь уже за «лидерство» в минувшей войне.

«МОЙ ДРУГ ШАРАФ...»

Сегодня наш читатель избалован и пресыщен сенсационными сообщениями прессы. Что ни публикация, то гром среди ясного неба. А, помнится, совсем недавно со страниц всех газет и журналов мерно, усыпляюще тек сплошной елей. Тишь, гладь и божья благодать. В этом отношении газета «Советская Кубань», пожалуй, не отличалась от себе подобных ни в лучшую, ни в худшую сторону: все правильно и скучно до умопомрачения. Бывало, появится какой-нибудь фельетон раз-два в году или что-нибудь о пожаре, наводнении, другой какой стихийной напасти, и снова — та же скука.

На этом почти кладбищенском фоне спокойствия и благополучия не могла остаться незамеченной публикация в «Советской Кубани» от 18 октября 1980 года, озаглавленная «О нашем времени и его свершениях». Солидный «трехколонник» имел броский подзаголовок: «К выходу в свет Собрания сочинений Шарафа Рашидова».

Однако не само заглавие и не подзаголовок пробудили неподдельный читательский интерес к публикации — подпись! Всего-навсего подпись, без титулов и должностей, лаконичная и строгая: С. Медунов.

Читатели привыкли видеть эту фамилию практически в каждом выпуске газеты, иногда повторенную неоднократно, но не под статьями или очерками, а в сугубо деловых сообщениях, скажем, о сессии, пленуме, собрании, приеме, семинаре и т. д.

До этого случая в качестве автора Сергей Федорович выступил на страницах «Советской Кубани», кажется, всего навсего один раз, с рецензией на новый кинофильм «Здесь, на моей земле». Фильм художественный, однако его создатели не делали тайны из того, что прототипом главного героя послужил выдающийся селекционер современности Павел Пантелеймонович Лукьяненко, творивший истинные чудеса на кубанской земле.

Позволю себе в связи с этим маленькое отступление. Накануне премьеры фильма газета заказала мне рецензию, и я как мог выполнил ее поручение. Фильм получился средненький, чтобы не сказать — посредственный, и я, по врожденной привычке говорить правду, добросовестно поделился своими впечатлениями с читателем. Каково же было мое удивление, когда недели через две увидел в той же газете рецензию на тот же фильм за подписью Медунова, но — бог мой, что делается! — рецензию в корне иную, противоположную моей, хвалебную, а если еще точнее — восторженную. Звоню в редакцию, отвечают: сами ничего не поймем, прислал, просил опубликовать, ни он, ни мы тем более, конечно, о твоей рецензии ни слова...

Крайкомовские шутники еще долго подтрунивали: ну ты даешь... с «самим» решил через печать поспорить?

Вернемся, однако, к статье о Собрании сочинений Рашидова. Интеллигентный читатель, конечно, прочитал ее и прочитал с упоением, знаю это по многочисленным отзывам и вопросам. Иные бестактно спрашивали: сам ли он писал? Кое-кто пожимал плечами, а почему на-

печатался в «местечковой» газете? Нет бы — в центральной — узнала бы вся страна, значит и Узбекистан тоже, а не только Кубань. Странно!.. Слышались ехидные комментарии: это ж надо, при такой партийной и государственной занятости находит время на литературные забавы!.. А в ответ не менее ехидное: что поделаешь, коллеги и по партийной деятельности, и по писательскому «цеху», наш хоть и не классик пока, но тоже ведь, говорят, пописывает...

Прежде чем вкратце изложить суть вышеупомянутой литературоведческой статьи, а она вполне заслуживает того, считаю уместным сделать еще один небольшой экскурс в прошлое. Лично я читал эту статью, как, быть может, никто другой, с повышенным интересом, придирчиво, с пристрастием. И вот по какой причине...

В наше время на факультете журналистики МГУ существовал, — не знаю, как теперь, — семинар по литературе народов СССР, которым предусматривалось в течение семестра изучить и сдать зачет по одной из братских литератур, какой именно, — украинской, грузинской, литовской, казахской, молдавской или какой иной, — решалось довольно просто: какой специалист оказывался к тому времени свободным, та литература и изучалась.

На нашу долю выпала аспирантка-«узбечка», собственно, была она славянка, русская или украинка, хотя смуглая и застенчивая, а как выяснилось за зачетах, еще и волевая на манер натуральной узбечки. Так вот, эта наша «узбечка», как мы ее называли за глаза, сумела своим тихим, вкрадчивым голосом так преподнести нам свой предмет, что кое-кто, помнится, задумался, а не попроситься ли при распределении на работу в Узбекистан? Благодаря ей нам открылся безбрежный, как океан, мир мудреца Алишера Навои, мы услышали неповторимую музыку его «Лейли и Меджнуна», «Фархада и Ширин», «Смятения праведных»... Колоритной, остросоциальной предстала нам и современная узбекская литература. И по сию пору словно воочию видятся мне «Огни Котчинара» и «Шелковое сюзане» Абдуллы Каххара; хорошо представляю повесть «В пустыню пришла весна» и роман «Его величество Человек» Рахмата Файзи; помню и ценю романы Явдата Ильясова «Черная вдова» и «Сагдиана», автор по национальности татарин, писал по-русски, а содержание и колорит типично узбекские.

Не буду задним числом кривить душой: остался в памяти своими «Победителями» и Шараф Рашидов. Он запомнился даже более других, но запомнился, прежде всего, не своим произведением, не его художественными достоинствами, а необычным сочетанием таких понятий и занятий, как писатель и государственный деятель. Мы, студенты, в силу своей наивности искреине удивлялись: как можно такое совмещать? Мы еще не знали, что люди поопытнее удивлялись совсем другому: писатели — «Как наш уважаемый Шараф успевает мудро руководить республикой?!», партийные и советские деятели — «Наш уважаемый Шараф — редчайший талант! Сидит на службе и каким-то чудом романы сочиняет». Лишь самые приближенные знали, кто, сидя на всем готовом на государственной даче, строчил роман за романом, передавая их на подпись Председателю Президиума Верховного Совета Узбекистана, а затем — первому секретарю ЦК.

В русской литературе уже имелся прецедент, я имею в виду, сами понимаете, Козьму Пруткова, созданного фантазией Толстого и братьев Жемчужниковых. Но там действовали совсем иные, в основе своей благородные мотивы. Там — писатель, вымышленный на потеху обществу, претенциозный, но бескорыстный, он всего лишь литературный тип. А здесь? О-о, здесь автор вполне реальный, внешне такой добросердечный, улыбчивый, коммуникабельный, ну ни дать ни взять сама доброта. А фактически? Пресловутая рашидовщина или шарафрашидовщина со всеми печально известными последствиями.

Прошу, однако, прощения...

О чем же писал рецензент?

Не будем пересказывать, предоставим слово ему самому.

«Это Собрание сочинений одного из основоположников новой узбекской прозы, известного советского писателя, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий Шарафа Рашидовича Рашидова осуществлено в знаменательное время, в канун исторического XXVI съезда КПСС, оно представляет собой факт, далеко выходящий за рамки литературы (воистину так! — П. П.)... Активный борец за мир и неутомимый проповедник идей коммунизма, видный деятель КПСС и Советского государства, писатель и публицист, поэт и литературный критик, ровесник Октября, Шараф Рашидович Рашидов — редчайшее сочетание дарований талантливого партийного работника, организатора социалистического строительства и выдающегося мастера литературы...

Талант Шарафа Рашидова многогранен. Он автор многих поэтических произведений, киносценариев («Зрелость», «Поэма двух сердец»), литературно-критических статей, публицистики. К сожалению, в Собрание сочинений вошло далеко не все, написанное им...

Произведения Шарафа Рашидова выходили отдельными изданиями более 200 раз на многих языках народов СССР

и зарубежных стран общим тиражом около 20 миллионов экземпляров.

В свое время Шараф Рашидов сказал о Шолохове: «Чем крупней, чем талантливей художник, тем глубже и достоверней отражают его произведения действительность в ее самых существенных чертах». Это полностью относится и к творчеству самого Шарафа Рашидова. Писатель полон творческих замыслов: в последней беседе со мной он радостно сообщил, что закончил последний, третий роман о судьбе Айкыз (девушки, которая борется за справедливость — П. П.). Завершается новая книга статей. Вновь перерабатывается старый сборник стихов. Шараф Рашидов редактирует, правит свои произведения...

В сокровищницу советской литературы легло пять томов Собрания сочинений Шарафа Рашидовича Рашидова — талантливого писателя, видного государственного и партийного деятеля нашей страны. Пусть же следующее Собрание его сочинений будет десятитомным!»

Думаю, текст статьи, пусть даже в сокращенном виде, настолько ясен и недвусмыслен, что не нуждается решительно ни в каких комментариях. Единственно, на чем хотелось бы остановиться, это на доверительном признании автора: «...в последней беседе со мной он р а д о с т н о сообщил...» Значит, беседы касались и забот чисто литературных, что очень похвально. Как говорится, не хлебом единым..

А вот местных литературных дел Медунов по обыкновению почти не касался, то ли недосуг было, то ли потому, что, как докладывали ему, мелко пашут доморощенные гении — пашут-де мелко, зато шу-у-уму!.. Однажды он так и выразился: «Шуму много, да шерсти мало, — как жаловался черт, остригая кошку». Ему, конечно же, было известно, что кубанские литераторы не разделяют писательского триумфа Шарафа Рашидова, хотя тот оказал одному из них неоценимую услугу, свидетельствующую о крайнем демократизме высокопоставленного мастера слова из солнечного Узбекистана.

Жест его, и вправду, был царственный...

Однажды писатель-фронтовик, живший в Сочи, послал Рашидову свою книгу с дарственной надписью и, как бы между прочим, сообщил: до войны я, дескать, тоже жил в Ташкенте и потому считаю себя в некоторой степени вашим земляком.

«Чего хочешь?» — последовал недвусмысленный вопрос. — «Хочу квартиру». — «Быть по-твоему!» — послышалось в ответ.

Уже живя в Ташкенте, в новой трехкомнатной квартире, точь-в-точь такой, какая была у него в Сочи, писатель, преисполненный искренних чувств признательности и благодарности, передал своему благодетелю еще одну свою книгу.

«Чего хочешь?» — спросил тот дарителя, но уже не лично, а через своего секретаря. «Мебель хочу. Да не нашу ширпотребовскую, а ту, что в магазины не попадает — персидскую ли, индийскую...» — «Иди домой, — ответствовали ему. — будет тебе мебель, какую твоя душа возжелала». И точно: ступив на порог, не узнал он свои пенаты, мебель во всех комнатах — отменнейшая!

Хотелось тут же отблагодарить Шарафа Рашидовича, рука сама потянулась к телефонному аппарату, да застыла на весу: телефона-то в доме тю-тю, а шагать к автомату, кричать там, надрываться — нет, извините, это не по рангу, да и унизительно. Уселся поудобнее в импортном кресле за удобным журнальным столиком и надписал очередную книгу.

«Чего хочешь?» — вопросил его секретарь. — «Телефон нужен, как воздух». — молвил писатель. — Иди, дорогой, к своему очагу, снимай телефонную трубку и разговаривай с кем угодно и сколько угодно».

Первым долгом позвонить кому? Разумеется, своим друзьям — писателям на Кубань. И говорил с ними прерывисто и громко — то ли от несказанной радости, иль с тайным умыслом — пусть и телефонистки-узбечки слышат, как обласкан, как согрет их кунак.

Молодая жена, между тем, чисто по-женски входила во вкус, загоралась неслыханными прожектами: и то надо, и другое, и третье. На что муж отреагировал хладнокровно, молча снял томик Пушкина с полки, раскрыл на страничке, где начиналась знаменитая сказка, ткнул пальцем..

Помнится, выступая однажды перед краевым активом, Сергей Федорович поделился впечатлениями о большом форуме в Москве и привел такой эпизод: сидим, дескать, в президиуме рядом с товарищем Рашидовым, он наклонился и шепчет: «Мы с тобой, Сережа, миллионеры, ты — по рису, я — по хлопку», — коснулся моего плеча и тихо рассмеялся...

Другой эпизод, не менее симптоматичный, связан со слухами, случавшимися в свое время повсеместно. В одно время по Кубани прокатилось: Медунова забирают... в Узбекистан. Сам он, между тем, находился в тот момент в отпуске. Выступая после отпуска на сессии краевого Совета, Сергей Федорович счел нужным разочаровать своих недоброжелателей. Он сказал примерно следующее:

— Некоторые кубанские болтуны поспешили отправить меня на работу в Узбекистан в качестве второго секретаря

ЦК. Погорячились товарищи!.. На самом деле у меня осталась часть неиспользованного отпуска, вот я и подумал: в Токио бывал, в Лондоне, Риме, в Париже бывал, а в своей родной Средней Азии — ни разу, хотя Шараф Рашидович неоднократно приглашал: «Приезжай, друг, не пожалеешь!» Ну, вот, думаю, дай-ка съезжу. Взял свою Варвару Васильевну и поехал. Зашел в ЦК, у них как раз пленум собирается, приглашают и меня, да еще в президиум хотели посадить. (Многозначительная пауза, пристальный взгляд в зал). Ну, что ж, поездили мы с нашим другом Шарафом Рашидовичем по республике, посмотрели, как народ живет, какая природа, какое богатство и культура, быт, подумалось — вот он, рай земной... Но отдых отдыхом, а не забывали мы и о делах государственных. Проговаривал я с узбекскими товарищами вопрос о шелководстве: у них оно хорошо идет, у нас же только время да силы отнимает, так почему бы нам, думаю, не передать госзаказ на шелководство им, а на себя взять их планы по пшенице, она у них идет гораздо хуже, чем у нас. Пошли мы навстречу им и относительно строительства в Сочи санатория «Узбекистан». Обговорили также ряд других жизненно важных вопросов...

Вот так просто, элементарно были посрамлены наивные кубанские болтуны. Единственно, что их могло утешить, — вся Кубань теперь прослышала о земле обетованной, о сказочном Узбекистане, где людям дышится вольно, живется счастливо, безбедно, где неутомимо трудится на благо Родины крупнейший государственный и партийный деятель, классик советской литературы, талантливый и т. д.

Продолжение следует

В Москве 21—23 декабря 1990 г. прошел организационный съезд Русских патриотических движений, на котором были выработаны общие программные положения разрозненных патриотических организаций.

Основная идея — объединение всех патриотических сил России в одну организацию с общим названием и программой. Организацию, которая сможет зарегистрироваться как единая Русская общественно-политическая организация «Русский общенациональный союз» (РОС) на территории России. Организацию, проводящую скоординированные мероприятия, акции, политику, единые по времени и тематике.

Каждая такая организация РОС в области или крае должна быть одна, но внутренняя работа может подразделяться по различным отделам. Отделам православия и национальной культуры, казачества и охраны памятников, молодежный и экономический отдел и т. д.

Все эти областные и краевые организации будут связаны между собой только горизонтальными связями, и лишь на период проведения каких-то больших мероприятий они выбирают временный координационный комитет.

Пора отринуть личную гордыню удельных князей, гордыню исключительности своего местного движения ради единой нашей цели — Великой России, берущей свое рождение от Киевской Руси!

Русские, украинцы, белорусы, объединяйтесь! Национальные интересы выше партийных, личных и групповых амбиций.

С нами Бог!

Наши адреса: 664004, Иркутск-4, 4-й Иркутный пер., 13. Турик Александр Степанович (РОС).

672038, г. Чита, ул. Красной Звезды, 12, кв. 96. Комашко Леонид Аксентьевич (РОС).

Программное заявление Русского общенационального союза читайте на 3-й странице обложки номера.

Эдуард Володин

НОВЫЙ РАСКОЛ?

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВСТРЕЧЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИИ

Высокое собрание

Наконец-то собрались мы, православный народ, для свободного обсуждения проблем русской жизни. Долгим было ожидание и не такой ожидалась встреча. Верилось, что подъем России и цветение ее жизни вдохновят нас на радостное общение в Духе и Истине. А встречаемся в грозные дни испытаний и тревожное время разрухи государственной, экономической, культурной. Освобождающемуся от одномыслия и ранжира строевых колонн народу снова, как и десятилетия назад, навязывают новые чары, которые уподобляются свету, но, на самом деле, гнилушками болотными ведут в непроходимую топь.

Сколько мечталось о восстановлении народовластия в Земском Соборе, способном свободным волеизъявлением определить будущее России и содержание Верховной власти. А нам со всех сторон и из всех либеральных подворотен воют о демократии и площадным шабашем добиваются нового Учредительного Собрания для торжества парламентаризма американского образца.

Сколько писалось и говорилось о чести и независимости России. Теперь демагогическим суверенитетом уничтожается целостность единой России, свободными зонами растаптывается честь страны и народа.

Сколько было надежд на соборное устроение народной жизни и восстановление достоинства личности. Теперь торгаша и менялу превращают в ключевую фигуру общества, криминальную буржуазию характеризуют как носительницу лучших черт, качеств, свойств национального характера.

Сколько чаяний возлагали на свободное слово, поднимающее человеческое достоинство из омута директив, циркуляров и постановлений. Теперь разнузданной вседозволенностью средств массовой информации слово делается средством растления народной души, извращения истины, оскорбления нравственности.

Сколько говорилось о дружбе и взаимопонимании народов, населяющих Великую Россию. Теперь народы кровью расплачиваются за бесстыдные игры националистов с народной судьбой, теперь в очередной раз темные силы глумятся над русской историей и готовят расчленение России на удельные княжества, чтобы по отдельности добивать части единого национального организма.

Сколько намечалось дел для возрождения национальной культуры, народного ее содержания. Теперь дешевкой штемпелеванной культуры убивают остатки неповторимой русской культуры, воем и грохотом металлических групп глушат душевный порыв молодежи к чистым национальным истокам культуры.

Почему и для чего?

Каждый из присутствующих здесь задает вопросы, каждый находит ответы. Может быть, будет небесполезно, если свой вариант объяснений выскажу и я. Было бы слишком поверхностно объяснять наш национально-государственный кризис действием внешних и внутренних антинациональных сил, также как крайне опасно объяснять углубляющийся кризис только исчерпанностью рушащейся на глазах политико-экономической системы. На самом деле это взаимосвязанный процесс, и конец системы должно рассматривать во взаимодействии всех составляющих системы разрушения. Это особенно следует подчеркнуть, потому что пять прошедших лет убедительно показали, что целью разрушения является не политическая система, а сама Россия, для которой система была всего лишь исторически краткой формой существования. И целью разрушения отныне не является «советский народ как новая историческая общность людей», также как средством, а не целью, следует признать возбуждение и провоцирование национализма и сепаратизма. **Подлинной целью разрушения является русский народ**, если сопоставить прогрессирующую русофобию с проектами расчленения России и разрушения ее исторических хозяйственных связей.

Но поскольку военная оккупация может просчитываться лишь как крайнее средство катастрофической для всего мира гражданской войны в России, поскольку даже гражданская война вряд ли приведет к исчезновению русского народа, поскольку не вообще Россия и не вообще русский народ являются целью всех темных сил, со всех сторон набросившихся на наш народ и наше Отечество. Я не сделаю никакого открытия, если скажу, что подлинной целью разрушителей остается, как и прежде, Русь православная и православный русский народ. Сказанного не отменяет и то, что Православной Руси как географического и демографического целого давно нет, и то, что русский народ в массе своей нерелигиозен. Злоба и скрежет зубовный именно потому, что наш съезд свидетельствует о собирании Православной Руси, а события этих же последних пяти лет лишь подтверждают, что начинается опамятование народа. Вот почему темные силы со всех сторон и под разными личинами набрасываются на наше прошлое и настоящее, чтобы у нас не было будущего. Вот почему Православие выбрано целью, уничтожение которой делает страну — территорией, народ — населением для любых построек, демократических альтернатив и радикальных преобразований.

Вспомним прошедшие пять лет. Нам усиленно вбивали в голову, что «мы родом из Октября», чтобы мы и перестройку восприняли как очередной революционный эксперимент над Иванами, не помнящими родства. Помешало 1000-летие Крещения Руси. Оно благодатью своей возвратило осознание того, что мы наследники великой исторической традиции и опыта православной духовности. Тогда левое крыло единой космополитической стаи зажало рот правым собратьям и уже без Октября, но, держа за пазухой Февраль, накинулось на наши православные идеалы, святыни и ценности. Нет, храмы не разрушают, священников не топят и не закапывают живыми в землю, иконы не сжигают, хотя по-прежнему числят экспортным товаром. Теперь допустили священников на телевидение, показывают богослужение, рассказывают о святых — и все превращают в товар, развлечение, интегрируют духовность в дешевку маскульта, приравнивают проповедь к зубоскальству жванецких и хазановых. Трюк известный, но тем более опасный для больной народной души, которая еще не способна отличить лекарство от наркотиков.

Только забрезжил над страной свет Православия, а нам подсовывают все, чтобы тьма погрузила народ в невежество и бездну лжи. Сатанизм легализован. Кришнаиты, сектанты разного толка, неоязычники и прочие, и прочие, и прочие последовательно насаждаются на русской земле, и вот уже молодые и почтенного возраста Иваны да Марьи камлают, уходят в астрал или медитируют — лишь бы не были причастны литургическому действу и не причащались таинств Православия.

И когда весь арсенал искусов и искушений исчерпан, а человек остается верен Православию, тогда начинается работа по разрушению святоотеческой веры, писания и предания, тогда раскол становится средством разрушения православных основ национальной жизни. Народ еще не получил в свои руки Библию, а высоколобы-мудрецы дают свои переводы боговдохновенных книг, чтобы благая весть была воспринята как обычное вечернее чтиво.

Все это можно было бы оценить как невинные шалости оторвавшихся от народа интеллектуалов или естественную детскую болезнь роста, если бы церковный раскол не вставал как самый острый и значительный вопрос жизни православной общины. Надо трезво смотреть на происходящее и констатировать, что внутри русского православия уже готовы начать противоборство три силы — Русская Православная Церковь, Русская Православная Церковь за рубежом и Катакомбная церковь.

Надеюсь, что эта проблема будет всесторонне проанализирована другими участниками встречи, а я обращу внимание на следующее. И зарубежная и Катакомбная церкви одинаково претендуют на чистоту знамен и незапятнанность связями и сотрудничеством с атеистической властью. Других заслуг вроде бы не начисляется, хотя и Карловацкий съезд, и уход в катакомбы тоже ведь канонически небезгрешны. Но, самое главное, весь народ в катакомбы спуститься не мог и не в состоянии был отплыть в зарубежье. В драматических условиях национально-государственного бытия народ продолжал свое историческое дело, и Русская Православная Церковь духовно окормляла его — как могла и как умела в конкретных условиях нашей жизни. Можно предъявлять претензии тому или иному иерарху, члену клира или мирянину, но разве не гордыня подвигает сейчас зарубежье и катакомбу на хулу в адрес Русской Православной Церкви и народа, делая снисхождение отдельным членам ее клира и паствы? И кому? Тем, кто в рясе священника призывает на митинги и числится в антиармейской организации «Щит» капелланом? Тем, кто в рясе священника сидит в Верховном Совете РСФСР и готов участвовать в устроении дел ислама, иудаизма и западного сектантства? Или тем, кто свой политический капитал создает братанием с европейскими христианско-демократическими партиями и союзами? Или, наконец, тем, кто советуется с римской курией, как устанавливать дела Православия?

Самое же больное — раскол обрушивается на нас тогда, когда нам нужна Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь. Для просвещения народа, для сплочения его, для спасения России.

Имя князя Е. Н. Трубецкого, как правило, мало известно кому-либо, кроме исследователей русской философской мысли рубежа XIX и XX веков.

Кто-то вспомнит, что Трубецкие — древнейший род русских дворян, кто-то припомнит князя Сергея Петровича Трубецкого — одного из руководителей декабристского восстания, более просвещенные вдобавок к этому — С. Н. Трубецкого, ставшего в 1905 году первым выборным ректором Московского университета, и лишь немногие вспомнят о его брате — Евгении Николаевиче...

И дело даже не столько в узости нашего кругозора, сколько в том, что мировоззрение и деятельность Е. Н. Трубецкого не «вписывались» в рамки «социалистического официоза», а потому были вычеркнуты из него.

Тем не менее Евгений Николаевич Трубецкой (1863—1920) — весьма заметная фигура среди русских философов рубежа прошлого и нынешнего веков. Видный русский религиозный философ, друг и последователь Владимира Соловьева. Он инициатор создания и участник книгоиздательства «Путь» (1910—1917 годы), а также идеолог связанного с ним религиозно-философского направления. По убеждениям — противник большевизма, что и привело его в годы гражданской войны в ряды Добровольческой Армии.

Собственная философская система Е. Н. Трубецкого наиболее ярко изложена в его главных философских сочинениях «Миросозерцание В. С. Соловьева» (М., 1913), «Метафизические предположения познания» (М., 1917) и «Смысл жизни» (М., 1918). В них он, освобождая учение В. Соловьева о положительном всеединстве от элементов пантеизма в метафизическом аспекте и от утопической бесконфликтности — в социальном, корректирует его в духе ортодоксальной христианской доктрины. Вместе с тем Трубецкой не отказывается от центральной в философии Соловьева интуиции абсолютного всеединства, свой подход находя в опоре на абсолютное сознание. То есть абсолют, не являясь сущностью всего в мире, «объемлет мир как всезнание, всеведение и всевидение» («Смысл жизни»). В этой связи совершенствование человека и человечества в Боге рассматривается как свободное осуществление божественного замысла (который человек волен принять или отвергнуть).

Симптоматична в этом отношении и одна из последних работ Е. Н. Трубецкого «Звериное царство и грядущее возрождение России», в которой автор рассматривает разрушительную роль большевизма в духовном укладе России.

Евгений Трубецкой

ЗВЕРИНОЕ ЦАРСТВО и грядущее возрождение России

I.

<...> Веками изживали христианские народы жестокие противоречия. Они исповедывали заповеди любви, но только для домашнего употребления — внутри государства, а рядом с этим, в международных отношениях, следовали морали каннибалов. В конце концов, душа не выдерживает такой двойной бухгалтерии, противоречие для нее не проходит даром. Можно ли допускать, чтобы человек был кровожадным тигром по ту сторону государственной границы, и в то же время требовать, чтобы он был кротким агнцем по эту сторону? Это психологически невозможно. И вот мы видим, что мировая война, разнуздавшая зверя в международных отношениях, тем самым подготовила его вторжение и в отношения внутренние. Это доказывается всеми современными переживаниями.

Достаточно послушать рассказы солдат, вернувшихся с войны, чтобы понять, как и почему эти люди превратились в кровожадных большевиков. Война воспитала их в мысли, что по отношению к врагу все дозволено, и послужила для них школою холодной, расчетливой жестокости; убийство стало для них делом легким и обычным, простейшим выходом из тех трудных положений, которые так часты на войне. Как поступить с врагом, который сдается в плен во время наступления? Вести с собою вперед — нельзя, оставлять в тылу одного — опасно, а тратить силы на то, чтобы его стеречь — значит себя ослаблять; всего проще — его пристрелить. Так же просто — приколоть какую-нибудь немку, если явится мысль, что она может донести своим о местопребывании русского отряда. Если понадобится чужое добро во вражеском селении, то чего же проще его реквизировать и ничего не заплатить! Из этих повседневных военных эпизодов слагается целый кодекс поведения и та особая психология, которую мы наблюдаем в большевистских массах.

Как только массы поверили, что враг — не вне, а внутри государства, весь необычный кодекс войны стал применяться к этому внутреннему врагу. Избиение «буржуев» и офицеров, грабительские реквизиции «по праву войны» стали делом легким и обычным. В этих принципах воспитало массы то самое милитаристское государство нового времени, которое теперь на наших глазах рушится под их напором. Нас часто приводит в негодование аморализм большевиков, которые для торжества коммунистического строя считают дозволенными все средства. Но не следует забывать, что все современное государство беспринципно в той же мере! Разве не оно воспитало людей в мысли, что нравственные правила обязательны только в жизни индивидуальной, что в политике дозволены всякие мерзости, и что для целей государства хороши все средства. Большевикам оставалось только применить эту точку зрения к государству коммунистическому.

Война разнуздала зверя в человеке. Отсюда и происходит тот груз, который увлекает современные государства в бездну. Отсюда неудержимое влечение современных народов к большевизму. Все катятся к нему, словно по наклонной плоскости: мало того, — способствуют его успехам своими действиями.

Кто только из современных народов ни поработал в пользу большевизма! Германия его насаждала, оплачивая его пропаганду в России; но Россия в долгу не осталась: теперь она пропагандирует большевизм в Германии. Низвержением императора Вильгельма президент Вильсон дал толчок его распространению; а теперь уже все державы согласия толкают к нему немцев, водворяя в Германии голод и нищету тяжкими условиями мира. Они создают и поддерживают среди немцев ту революционную атмосферу, которая рано или поздно заразит их самих. Теперь вся надежда немецкого реванша на то, что большевистская зараза проникнет во Францию. Словом, державы согласия поступают с Германией совершенно так же, как недавно Германия поступала с Россией. Естественно, что и результаты будут те же.

Но самое роковое знамение времени для держав согласия — их бессилие по отношению к большевикам, бессилие не физическое, а духовное. Физически силы большевиков ничтожны сравнительно с силами союзных армий; при этом выдающиеся государственные люди Англии и Франции прекрасно понимают международную опасность большевистского очага заразы, ведущего деятельную пропаганду во всем мире. И, однако, чего-чего не делается союзниками, чтобы как-нибудь не тронуть пальцем большевиков! И приглашение на Принцевы острова, и забвение тяжких оскорблений, нанесенных в Москве и Петрограде их посланникам. Попытка величайшего народного героя Франции — Клемансо — вмешаться в русские дела потерпела полное крушение, и мы начинаем понимать, в чем дело. Все европейские народы так или иначе испытывают на себе действие большевистского яда. События в Одессе показали всю невозможность заставить французского солдата сражаться с большевиками. Те самые войска, которые побеждали болгар и немцев, бежали перед большевиками потому, что упорно не хотели драться. При этих условиях неудивительно, что и в Париже французские «товарищи» оказались сильнее Клемансо.

В итоге, за последние годы все в мире делалось и делается в пользу большевиков. Как будто для них народы вооружались, для них вели мировую войну, а теперь заключают тот жестокий, грабительский мир, который только им может быть полезен.

Это доказывает, что большевизм для современных народов не есть что-то случайное и внешнее: это — какая-то роковая болезнь, которая таится в их крови. И мы видим, какая именно: в большевизме стал явным тот «образ звериный», который уже задолго до войны жил в душе народов, вынашивался всей жизнью современного государства.

Тут перед нами обнажается провал всемирной культуры. Веками работала она над человеческим обществом и все-таки потерпела жестокую неудачу в самом главном: человек остался все тем же хищником, каким он был в доисторическую эпоху, но при этом хищником во всеоружии средств современной техники. И вся его цивилизация — не более, как тонкое покрывало, наброшенное на злую жизнь. Несмотря на настойчивые попытки очеловечить общество, взаимные отношения народов продолжают покоиться на чисто зоологическом принципе — кровавой борьбе за существование: у кого сильнее челюсть, тот и прав.

Это преобладание зоологического нача-

ла сказывается в особенности в том значении, какое приобрела война в жизни современных народов. Лозунг «Все для войны!», провозглашенный в последние годы, в сущности выражал собой главное содержание общественной и государственной жизни уже задолго до начала войны мировой. Ибо в мирное время Европа представляла собой огромный военный лагерь, где все вооружалось, все готовилось и приспособлялось к грядущей бойне. Все было подчинено войне: промышленность, техника, сам ум человека, изощрявшийся в изобретении способов взаимного истребления, и, наконец, его сердце, впитывавшее в себя варварскую энергию. Человек становился орудием войны с головы до пяток.

Такое приспособление к войне самого духовного облика человека не может пройти для него безнаказанно: неудивительно, что, в конце концов, оно создало тип человека-тигра и что этот тип во многих странах мира приобрел преобладающее значение, захватил власть и влияние (вспомним Троцкого и Петерса). В этом и заключается торжество большевизма. Большевизм — не более и не менее, как Немезида современной культуры, это — обнажение таившейся в ней темной силы зла.

Вдумываясь в господствующие течения современной жизни и мысли, мы без труда поймем, почему в современном обществе так легко стерлась грань между человеческим и звериным. Ведь в наши дни само отличие человека от животного утрачено. Житейский материализм, забвение духовных ценностей, более того, практическое отрицание духа — вот наиболее характерные черты современного духовного склада. Отсюда тот нездоровый экономизм народов Европы, который привел их к войне. — Мировая война вызвана стремлением одних народов создать свое материальное благополучие на костях других. В сущности своей это была та же отвратительная борьба животных из-за пищи, которую сильный микроскоп может открыть в любой капле застоявшейся воды. Было здесь и нечто худшее. Для животных путь кровавой борьбы за существование естествен: пожирая друг друга, они осуществляют закон своей природы. Наоборот, для людей это взаимное пожирание — путь падения, потому что этим самым его дух порабощается закону низшей, подчеловеческой области жизни и отрекается от собственной своей природы.

Всмотритесь в большевизм — и вы увидите, что именно это падение составляет его сущность. Сознательное отречение — от духа — вот в чем для него основной принцип всего общественного строения.

Материализм в Совдепии приобрел значение как бы некоторого догмата веры и в качестве такого преподается в школах. При этих условиях неудивительно, что большевики не могли удержаться на точке зрения религиозной свободы, которую они лицемерно исповедуют, и вступили на путь открытого гонения против религии, как такой. Религиозная вера в животворящий Дух Божий есть отрицание самих основ большевистского общежития; поэтому большевики не могли ограничиться упразднением Закона Божьего, как обязательного предмета для учащихся; они должны были совершенно воспретить его преподавание. Этим же обусловливается большевистский декрет, отрицающий за религиозными обществами какие-либо имущественные права: цель большевиков заключается в том, чтобы сделать всякие внешние проявления веры и церкви невозможными, уничтожить сам культ путем национализации храмов и священных предметов.

Если они не доводят эту попытку до конца, это обусловливается не какими-либо принципиальными препятствиями, а единственно практической невозможностью, боязнью вызвать бурные проявления народного негодования. Подлинное отношение большевизма к религии выражается не в равнодушии, а в ненависти, в расстрелах, издевательствах и мучениях священников, ибо самое существо большевизма есть активная вражда против духа.

Этой же враждой обусловливается отрицание ярких духовных связей общежития: сами национальные отличия между людьми, с точки зрения большевиков, призрачны именно потому, что это — отличия духовные. Реальны, существенны, с их точки зрения, только отличия материальные, экономические. Есть на свете только две нации, с которыми они считаются: имущие и неимущие, буржуазия и пролетариат. И, так как между людьми нет и не должно быть каких-либо духовных связей, отношения между этими двумя «нациями» должны решаться голым зоологическим началом борьбы за существование. Пролетариат становится единственным обладателем всех материальных благ не в силу каких-либо требований справедливости, а исключительно по праву сильного. С большевистской точки зрения, в классовой борьбе осуществляется не какая-либо высшая правда, а единственно право больших рыб глотать малых рыб: раньше это право осуществлялось буржуазией. Теперь очередь за пролетариатом. Никакие гуманитарные соображения не должны смягчать и ограничивать этого права большого зверя на его добычу. Классовая борьба, как ее понимают большевики, совершенно так же жестока и беспощадна, как борьба за существование в животном царстве: она может кончиться только истреблением одного из противников.

В большевистском общежитии нравственные и правовые нормы заменяются просто-напросто массовым аппетитом. Всякие ограничения и запреты в этом отношении существуют только для отдельных личностей, а не для массы. Коллективный произвол «рабоче-крестьянской бедноты» в Совдепии решительно ничем не сдержан. Ей принадлежит ничем не ограниченное право распоряжаться жизнью и добром отдельных граждан. Повальный грабеж и море пролитой

крови показывают, как пользуются большевистские массы этим правом. А о том, как ревниво оно сохраняется, свидетельствуют массовые казни «буржуев» и воспрещение покупать целый ряд предметов первой необходимости тем, кто не стоит «на советской платформе». Недаром Ленин сказал, что тот, кто не полезен советской республике, может умирать! Невольно вспоминается требование апокалипсического «зверя, выходящего из земли», который принуждает всех живущих на земле поклоняться другому зверю, «выходящему из моря».

«И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их; и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет свое начертание, или имя зверя, или число имени его». (Апок. XIII, 16, 17).

Все типические особенности большевистского склада вытекают из указанного основного начала большевистского жизнепонимания. Мы часто слышим о привилегированном положении физического труда в Совдепии по сравнению с трудом умственным, и даже о прямом гонении большевиков против интеллигенции. Это опять-таки частное проявление все того же отрицания духа. Человек ценится у большевиков, как представитель материальной силы; естественно, что носители силы умственной, духовной у них в пренебрежении. Пресловутая «социализация женщины» опять-таки характерна для материалистического жизнепонимания, которое низводит женщину до уровня самки.

Есть что-то сатанинское в том оплевывании человеческого достоинства, в том низведении человека до скотского уровня, которое составляет характерную черту большевизма. Это не простое разнуздание человеческих страстей, а зверепоклонство, подчинение человеческого звериному, возведенное в основное начало общежития. Конечный результат такого жизненного склада есть полное разложение всяких общественных связей, окончательное разрушение человеческого общежития. Мы видели, что большевизм пытается разрушить церковь, нацию, семью, что он признает лишь то общественное единство, которое покоится на чисто материальных интересах. Его сущность сводится к попытке совершенно выбросить за борт всякие духовные начала и построить человеческую жизнь на чисто материалистических началах. Так как материализмом пропитана вся жизнь, вся психика современных народов, эта попытка имеет не местное только значение. Так или иначе весь мир должен пройти через этот соблазн, все народы должны переболеть этой болезнью большевизма. Мы, русские, заболевшие ею раньше всех, видим всю бездонную глубину этой пропасти, в которую вслед за нами стремятся народы Европы. Люди, которые объединены между собой одними материальными интересами, напоминают волков, которые соединяются в стаи, чтобы добывать пищу, но при отсутствии добычи пожирают друг друга.

Это не человеческое, а звериное царство, которому суждено пройти все ступени человеческого падения. Мы знаем, что в Петрограде дело уже дошло до людоедства в буквальном смысле.

Может ли удаться эта попытка, восторжествует ли звериное начало в человечестве? Это и есть вопрос, на который мы призваны ответить.

Сейчас уже намечаются определенные данные для его решения. Общественное строение, построенное на материалистических началах, неизбежно таит в себе зародыши собственного разрушения, потому что закон его жизни есть нескончаемый, непримиримый спор собак из-за брошенной кости. Никакое экономическое единство не в состоянии устоять против оргии всемирного разрушения, начатой большевиками. Рано или поздно большевизм подвергнется неизбежной участи «царства, разделившегося на себя». Тогда для измученного человечества начнется процесс исцеления; нам предстоит поговорить здесь о том, как и при каких условиях он может совершиться.

II.

Большевизм возник и вырос в мировую величину на почве духовного падения народов. Поэтому и освобождаться от него можно только путем духовного подъема.

То угасание духа, которое подготовило почву для большевизма, тесно связано с совершившимся за последние десятилетия пышным расцветом материальной культуры. Быстрый рост материального благополучия всюду оказал на человеческую душу одно и то же отрицательное влияние. Он усыпил духовную жизнь. Сладкая мечта о земном рае, ныне одурманившая демократические массы, первоначально выросла на почве сытости и довольства. Сначала ею жило привилегированное меньшинство. Но вот в дни величайших страданий мировой войны солдаты из окопов увидали издали этот рай богатых и спекулянтов. Большевики сказали: «берите, он ваш», «мир на фронте, война внутри государства» — и в тылу у армии загорелось кровавое зарево.

Роковая причина этого пожара — угасание духа. Утраченные духовные ценности были заменены идолами. А идолы, как бы они ни различались между собой, всегда кровожадны и требуют человеческих жертв. Оттого-то одно идолопоклонство так легко переходит в другое. Поклонение «золотому тельцу» породило между людьми взаимную ненависть и вызвало войны. А ненависть и вражда отдали человечество во власть «зверя, выходящего из бездны». Конец этой нечистой власти настанет лишь тогда, когда душа народов освободится от оков околдовавшего его плена. Взгляните на север России: там обольстительная мечта, одурманившая народные массы, окончательно разбита жизнью: обещанный большевиками

земной рай, манивший издали, исчез, как мираж, и сменился адом: вместо обещанного довольства и сытости народные массы пережили полное крушение материального благополучия. Они испытали весь ужас голода и нескончаемого, хронического междоусобия.

Пока крестьяне жгли помещиков, а рабочие в городах обирали «буржуев и капиталистов», массы еще находились во власти революционного угара; но вот в деревне началась борьба между кабацкой голью, именуемой «беднотой», и хозяйственными мужичками, рабочие в городах почувствовали на себе всю тяжесть ненависти деревни, которая отказывается продавать хлеб. Ненависть отравила все человеческие отношения. Брат восстал на брата и отец на сына. Всякий, у кого оставался какой-нибудь лишний пуд хлеба, припасенный про черный день, почувствовал себя под контролем миллиона завистливых глаз, которые выслеживают, чтобы обобрать. Крестьянин, больше всех мечтавший о «завоеваниях революции», очутился в положении «буржуя», отданного на «поток и разграбление» грабителям и реквизиторам из «бедноты». Чтобы вырвать у него хлеб для прокормления города, в деревню стали посылаться вооруженные отряды. В среде самих рабочих проникло то же разделение на привилегированную «бедноту» и «приспешников буржуазного строя», «контрреволюционеров», обреченных на заклание. Волчьи аппетиты ближнего оказались угрозою для всех и каждого. И уже не меньшинство богатых, а «демократические массы» поняли, что значит очутиться в когтях «зверя, выходящего из бездны».

В деревнях идут восстания против большевиков: крестьяне перепиливают комиссаров пилами и закапывают их живыми, после чего карательные экспедиции выжигают целые волости и расстреливают людей тысячами. В городах с той же варварской жестокостью подавляются голодные бунты. Здесь, на юге, трудно составить себе хотя бы отдаленное представление о той степени ненависти, которая накипела по отношению к большевикам на севере. Эта ненависть парализуется только тем ужасом, который они внушают, и общим чувством беспомощности против зла.

Страшно подозревать вора и грабителя в каждом ближнем. Но еще страшнее ощутить в себе самом кровожадного тигра. В народном настроении сочетается и то и другое: и мучительное ощущение безграничного несчастья, и ужас перед глубиной собственного падения. Тут-то и наступает предел, где все, что есть в человеке человеческого, ополчается против звериного царства.

В конце концов, человеческой душе становится невыносимо море пролитой крови: она изнемогает под тяжестью собственного греха. Помню яркий рассказ сестры милосердия во время октябрьского большевистского восстания в Москве. Умирающий солдат-большевик требовал священника для исповедания; но священника под рукой не оказалось, и он покаялся сестре. Его мучило воспоминание о четырех мальчиках-кадетах, убитых им при взятии кадетского корпуса. Он говорил: «Меня уверили, что кадеты — всему злу виновники, вот я четырех мальчиков и запорол штыком. А теперь я узнал, что кадеты невиноваты, да не те». Не половина ли России состоит из этих обманутых душ, которые теперь мучатся в содеянных темных делах и жаждут, чтобы кто-нибудь их понял и простил. Их следует простить, но горе тому, кто соблазнил одного из «малых сих».

Я слышал от священников, что им в качестве отцов духовных приходится быть свидетелями глубоких, душевных драм людей, вовлеченных в злодеяния демагогией. И первое движение, которое зарождается под впечатлением ужаса собственного падения, это — тоска по утраченной святыне. Один московский священник говорил мне, что под влиянием сильных душевных потрясений к нему приходили каяться в преступлениях солдаты-большевики, раньше по много лет не бывавшие на исповеди. Одних мучили содеянные убийства, других — оскорбление святыни, их участие в расстреле Кремля.

Значение забытой святыни познается в ее утрате. Оказалось, что с ней связано все то, чем держалось общежитие, все то, что делало человека человеком. Когда люди руководствуются одними экономическими интересами, всякое непримиримое расхождение этих интересов делает их жестокими врагами. Поэтому общество, утратившее святыни, неизбежно утрачивает и внутренний мир, а с утратой внутреннего мира рушится всякое общественное единство; общество превращается в стадо диких зверей. Не стало благоговения в сердцах народных, и величайшее в мире царство, которое собиралось веками, распалось на мелкие куски в несколько месяцев. Не очевидно ли, что все в нем держалось теми невидимыми духовными скрепами, которые в дни революции были кощунственно порваны! Эта связь между тяжким грехом русского народа и настигшей его катастрофой теперь стала очевидной даже для простаков и младенцев. Всякому понятно, что сам голод, от которого люди гибнут тысячами, наступил не вследствие неурожая, а вследствие царящей на земле смуты и неправды; его причина — утрата внутреннего мира, междоусобицы, которые погубили честный труд. На всероссийском церковном соборе мне приходилось наблюдать религиозно настроенных крестьян, которые ясно сознавали, что роковая причина развала и распада России есть общее осатанение. Чуткими душами из простого народа этот развал воспринимается, как состояние земли, оставленной Богом, утратившей Божью благодать. Что «люди Бога забыли и стали между собой, как дикие звери», это теперь можно услышать на севере России от всякого верующего крестьянина. И это настроение усиливается тем негодованием, которое вызывают непрекра-

щающиеся кощунства и оскорбление святыни.

Для душевного состояния народных масс на севере характерны рассказы о периодически повторяющихся чудесных знамениях праведного суда и гнева Божьего. В течение прошлой зимы, например, я с разных сторон слышал рассказы о ярком пурпуровом кресте цвета крови, который виден был в течение нескольких минут над Москвой на безоблачном небе, во время солнечного заката. Одна знакомая барышня со всей своей семьей видела этот крест, зарисовала его и показывала мне рисунок. Я не сомневаюсь в правдивости этого рассказа, не думаю, что в описанном явлении было что-либо чудесное, и согласен объяснить его естественными причинами. Но самое естественное объяснение приводит в глубокое волнение, потому что оно указывает на ту степень острого страдания, которое переживают в Москве человеческие души. Ведь люди не могли бы увидеть этого кровавого креста на небе, если бы они не носили его в своем сердце. Тут все мучительные переживания эпохи воплотились в одном ярком образе и получили неотразимую силу видения. Достаточно вспомнить, что в это время мы каждый день читали про нескончаемую Голгофу России, про мученическую смерть священников и епископов; а по ночам зловещий треск пулеметов, доходящий до слуха, возвещал о гибели сотен лучших, самоотверженных наших детей и братьев. Просыпаясь, москвичи себя спрашивали: не мой ли сын, не мой ли брат, не мой ли жених погиб в эту ночь?

Помню другой случай, когда большевики возмутили народные массы дерзким кощунством. Революционный праздник 1 Мая в 1918 году совпал со Страстной средой. Несмотря на это совпадение, совнаркомы устроили революционное шествие и задрапировали Кремль красной материей с яркими революционными надписями. Одной из таких надписей «Да здравствует Советская республика» была задрапирована чудотворная икона Николая Чудотворца на Никольских воротах, уцелевшая от взрыва в 1812 году. И вдруг на глазах у толпы в несколько сот человек совершилось происшествие, которое до сих пор остается необъяснимым. Из ряда рассказов, правдивость которых я имел возможность проверить, выясняется следующая картина: красная ткань, закрывавшая образ, внезапно дала поперечную трещину, потом стала дробиться на отдельные полосы, которые свертывались и как бы таяли. В течение четверти часа ткань почти целиком исчезла; свидетели с трудом разыскивали на земле что-то вроде красной корпии. Один хорошо знакомый мне и вполне правдивый свидетель, который докладывал об этом патриарху, изъявляя готовность подтвердить свое показание присягой, с трудом разыскал на земле кусок материи. Желая проверить, не была ли материя умышленно пропитана какими-либо химическими веществами с целью ее уничтожения, он тщетно пытался разорвать ткань: она оказалась исключительно крепкой.

Для меня важно в данном случае опять-таки не то или другое объяснение этого события, которое может быть вполне естественным, а народное настроение, которое, несомненно, приняло его как чудесное. В течение целой недели большевистская милиция с трудом разгоняла толпу, собиравшуюся около иконы, ружейными выстрелами. Толпа разбегалась и сходилась вновь. А 9 мая, в день праздника Николая Чудотворца, к поруганной большевиками его иконе, собрался со всей Москвы грандиозный крестный ход, какого в Москве еще не бывало. Он затмил даже раньше бывшие зимние крестные ходы этого же года и народные сборища в дни царских коронований. А революционная процессия 1 мая по сравнению с ним оказалась совсем жалкой и ничтожной.

В другой лекции, читанной в Екатеринодаре, я указывал на опасность для жизни таких крестных ходов, которые во многих городах окончились расстрелом толпы из пулеметов, а в данном случае крестный ход готовился под впечатлением выстрелов, уже бывших возле иконы. Но ничто не могло остановить неудержимого народного порыва. Как свидетель и участник нескольких таких ходов, могу сказать, что слово «энтузиазм» не подходит для их характеристики, ввиду их необычайно сосредоточенного и серьезного настроения. Люди готовятся к ним причастием, считаясь с возможностью смерти, идут с пением «Святый Боже» и «Кресту Твоему». Это что-то вроде торжественных шествий с Плащаницей. И только однажды на Красной площади мне пришлось услышать в январе пасхальное пение — «Христос Воскресе». Это восторженное пение было ответом на расстрел Кремля большевиками. Кругом все свидетельствовало о разрушении и смерти: и простреленные главы церквей, и бреши в кремлевских стенах, и свежие могилы большевиков, зарытых «по-граждански» на площади. Но, как бы ни была мрачна эта картина,— всякая тяжесть спала с души, когда на площади тысячи голосов запели этот восторженный, торжественный гимн воскресения.

По всей России прошла волна этих крестных ходов, всюду принимавшая величественные размеры. В движении участвовали не только города, но и села. Так, например, зимою 1918 года патриарх выезжал в окрестности Богородска на крестьянский крестный ход, в котором участвовали десятки тысяч крестьян из сотен селений.

Движение, несомненно, приняло характер всенародного сдвига, и, с этой точки зрения, трудно достаточно высоко оценить его значение. По отношению к большевикам оно уже приняло внушительную силу сопротивления. Эти массы, которые шли десятками и сотнями тысяч с решимостью постоять за святыню, вселили тревогу в ряды большевиков и заставили считаться с собой. В целом ряде случаев народные комиссары

оказались вынужденными отступить перед напором народных масс. Так, например, зимой 1918 года большевики пытались захватить и национализировать Александро-Невскую лавру в Петрограде с целью превратить ее в благотворительное учреждение. В ответ на эту попытку духовенство, руководимое мужественным митрополитом Вениамином, соорудило гигантский крестный ход к Лавре, который запрудил весь Невский: испуганные комиссары принуждены были очистить Лавру. Потом из разных городов и сел России стали получаться известия, что пример Петрограда вызвал подражание. То здесь, то там в ответ на покушение большевиков на ту или другую святыню или арест священника колокола звонили в набат, народные массы собирались и вынуждали большевиков к отступлению. В Москве и в других городах составились союзы объединенных приходов, которые всюду разработали определенный план организационной защиты святынь против нападений, причем удар колокола в набат и крестные ходы играли тут видную роль. Большевики были крайне встревожены этим народным движением и воспретили набатный звон под страхом смертной казни.

И, однако, в главном и основном они должны были уступить. Наиболее кощунственные пункты декрета об отделении церкви от государства, именно те из них, коим имелось в виду нанести церкви уничтожающий удар, остались без осуществления. Так, декрет и изданная в дополнение к нему инструкция предусматривали полную национализацию всех церковных имуществ, в том числе храмов и священных предметов. В десятидневный срок все храмы со всем, что в них имеется, должны быть переданы большевистским властям и затем обратно переданы для пользования группам верующих под контролем советских властей. Возмущенный этой кощунственной мерой всероссийский церковный собор категорически воспретил передавать большевикам храмы и священные предметы. Это произошло осенью минувшего года. С тех пор, по наведенным справкам, национализация применялась лишь к имуществу, не имевшему священного значения, и только в виде исключения — к отдельным домовым церквам. В общем же национализация храмов потерпела полное крушение.

Как бы ни была велика сила движения, глубоко ошиблись те, кто ожидал от него организации государственного переворота. Оно держалось на чисто религиозной высоте, и в этом обнаружилась глубокая мудрость его руководителей. Не говоря уже о том, что церкви и не к лицу устраивать вооруженные восстания,— это движение нанесло большевикам самый сильный удар именно тем, что оно стало чисто религиозным и держалось вдали от партийной политики. Дело церкви не призывать к оружию, а врачевать человеческие души. Именно этим врачеванием она подрывает психические корни большевизма.

Не следует забывать, что большевизм — прежде всего, глубокая психическая зараза. Он силен, лишь поскольку он властвует над человеческой душой. Поэтому и преодолеть его можно, только вырвав его корни в человеческой душе. О том, до какой степени невозможно победить большевиков одной силой физического принуждения, и свидетельствуют хотя бы недавние события на Украине. Там германская оккупация загнала большевизм в подполье, но, как только немецкие войска ушли, вся страна сразу оказалась насквозь пропитанной большевизмом и подпала под советскую власть. Ясно, что мы имеем здесь дело с массовой психической болезнью, которая может быть побеждена только глубоким внутренним переворотом, коренным переломом в самой народной психике.

Этот перелом теперь и совершается на севере. Минувшей зимой мне пришлось наблюдать наше великороссийское религиозное движение и на площадях, и в храмах, и в многолюдных собраниях, и на всероссийском церковном соборе. Могу выразить мои впечатления двумя словами — происходит очищение души народной. Вы чувствуете, как она оживает, приходит в себя и всем нутром освобождается от накопившейся в ней мерзости.

Что переживают эти массы, которые с восторженными слезами молятся и поют на площади? Вся тяжесть мучительных переживаний спадает у них с души, побеждается облик звериный, человек становится человеком. И тем самым восстанавливаются те невидимые духовные связи, которыми раньше крепка была Россия. Это — душевное состояние того бесноватого, который по изгнании из него легиона бесов вышел из гроба и сел у ног Спасителя. Ценой величайших страданий дается человеку эта легкость духа. Вспомните слова Христовы: род сей изгоняется молитвой и постом. Изо дня в день строже и мучительнее становится вынужденный пост русских людей. Изо дня в день положение представляется все более и более отчаянным, безвыходным. И вот, в минуты, когда не видно ниоткуда ни просвета, ни надежды, голодные и исстрадавшиеся люди собираются в храмы, падают на колени, молятся, и тем самым совершается великое жизненное дело поста и молитвы. У людей вырастают невидимые крылья, которые высоко поднимают их над захлестнувшей мир грязной волной. Беса уже нет в человеческой душе, прошедшей через очищающее страдание. Она освобождается от него всем существом своим, внутренне, органически.

Мы живем в эпоху великих мировых контрастов. С одной стороны, сам сатана сорвался с цепи. А с другой стороны, на борьбу с разнуздавшейся силой зла мобилизовались все духовные силы, какие есть в человеческой душе.

В дни глубочайшей скорби и ужаса рождается в мире высшая красота духовного подвига. В церкви вновь показывается

забытый миром лик Христов. Опять, как в языческом Риме, льется кровь мучеников. То вдруг доносится весть про священника, который смелым словом проповеди пытался остановить неистовства солдат-большевиков и за это был поднят на штыки. То приходит известие об епископе, которому выкололи глаза и вырезали щеки за смелое слово изобличения против насильников, или про митрополита, который был расстрелян за то, что отказался по требованию большевиков переделать монастырь на мирской образец. Так скончался киевский митрополит Владимир.

Пока народ видел церковь в мирском почете и великолепии, он не верил своим пастырям, инстинктивно чувствуя, что мирское покровительство покупается ценой духовного рабства. Большевистская демагогия искусно использовала это падение духовного авторитета, чтобы изобразить священников как приспешников мирской реакции. И вдруг, после падения — опять неожиданный подъем. Церковь, ограбленная, нищая, гонимая, вновь зажгла сердца, вернула утраченное влияние и приобрела всю ту духовную мощь, которая создается кровью мучеников.

Мирское обнищание и духовное возрождение — два тесно связанные между собой явления. В церкви вообще пробуждается духовная жизнь. Казенное чтение проповедей по тетрадкам заменилось живым словом. Появились проповедники, которые увлекают слушателей, начались оживленные беседы в храмах. И чего не было у нас веками — появился духовный вождь. Патриарх Тихон, мечущий громы против народных комиссаров, стал обличать их засилье с той силой и властью, какой русская церковь не видала со дней митрополита Филиппа, обличавшего Грозного. За каждое слово, сказанное им властям, ему грозил расстрел. Его спасает только страх, который внушает врагам церкви необычайное его обаяние в народе.

Иными словами, на севере России совершается теперь глубокий перелом во всем настроении, во всем духовном складе народном. Не столько внешние события, сколько именно такие душевные перевороты решают судьбу людей и судьбу народов. То, что происходит в политической жизни и на поле сражений — только последствия этих невидимых глазу, но полных глубокого значения внутренних событий. Тот духовный подъем, который некогда спас Россию от татар, зародился в лесной пустыни и вышел из монастырской обители. В минуту, когда все дрожало перед татарами, смиренный монах вдохнул мужество в русскую рать. Раньше подвига Дмитрия Донского судьба России была решена подвигом святого Сергия. Также и теперь то, что произойдет на поле сражения, будет лишь последствием внутренних духовных переживаний.

Весной 1919 года произошел перелом военного счастья. В красном полку стали разлагаться, бунтовать и переходить на сторону противника. Люди поверхностные будут объяснять достигнутые успехи рядом видимых, бросающихся в глаза причин: организаторским гением Колчака и Деникина, искусством их полководцев, ошибками большевиков. Всем этим факторам, разумеется, принадлежит известное значение. Но значение решающее принадлежит все-таки не им, а переменам в духовной атмосфере. Пока на севере России царило увлечение большевизмом, военные подвиги и искусство полководцев были бессильны. Но, к счастью, теперь уже совершилось решающее для России событие. В глубоком тылу у большевиков одержана над ними великая духовная победа. Сломлена власть большевизма над душой народной, и сейчас он жив только последними остатками этой власти. Когда большевистские полки окончательно распадутся и разложатся, это будет значить, что душевный перелом в народных массах завершился.

В этом — вся суть. Одними штыками да пулеметами большевики не удержатся: ведь, в конце концов, штыком и пулеметом руководит дух. От духа зависит, куда и как направить пушки и ружья. В этом — полное ниспровержение всей попытки построить человеческое общество на одних материалистических началах. Как бы совершенной и прочной ни казалась эта постройка, если нет в ней невидимых внутренних связей, ее скрепляющих, рано или поздно она рухнет, как дом, построенный на песке. Когда стараниями большевиков десятимиллионная русская армия стала телом без духа, она рассыпалась на мельчайшие части, обратилась в пыль. Когда завершатся происходящие ныне очищения души народной, то же самое произойдет и с большевистской армией: тогда ни строгость наказаний, ни военное искусство не будут в состоянии сделать мертвое живым.

В то самое время, когда большевистское общественное строение разлагается, те духовные связи, которыми раньше держалась Россия, начинают восстанавливаться. Казалось, большевизм раздробил общество на непримиримо враждующие между собой классы. В этом и есть тайна его разрушительной силы. Величайшее его торжество в том и заключалось, что не стало единого народа русского. Остались на сцене только «буржуи» да «беднота», которые встречались лишь в целях взаимного истребления.

Но вот в великом нашем религиозном движении произошла иная встреча этих классов. В церкви классовая рознь побеждается, для нее нет ни буржуя, ни пролетария. Там человек сразу чувствует себя поднятым на высоту сверхклассового мира. И тем самым восстанавливается единство разрушенного целого — это что-то вроде национального воскресения. Вы снова видите перед собой тот единый русский народ, который в дни гражданской войны, казалось, совсем исчез из вашего поля зрения.

Это исцеление в буквальном смысле, потому что в нем восстанавливается нарушенная целостность народная. Я не преувеличиваю, это — осязательный факт, на севере всякий может его наблюдать.

В храмах, на крестных ходах и во всех религиозных собраниях вы наблюдаете одно и то же явление: рушатся все классовые перегородки. Тут и рабочая блуза, и пиджак, и шляпа, и ситцевый платок — все густо перемешано; но простонародья без всякого сравнения больше. Одна интеллигенция сама по себе не могла бы дать и десятой доли тех многолюдных сборищ, которые заполняют московские площади и улицы. Также и на собраниях вы слышите речи людей всех званий и состояний. И все думают и говорят только об одном, что бесконечно далеко от классовых интересов: как защитить против насильников поруганную святыню, как спасти гибнущую Россию. И те скорбные речи крестьян о ее падении, какие мне приходилось слышать на церковном соборе, принадлежали к числу самых искренних и сильных.

Народное самосознание оживает в этом духовном общении всех классов: в нем русский человек снова находит утраченную родину. Это не удивительно. В прошлом вся Россия создалась тем духовным подъемом, который теперь возрождается на севере. Теперь она восстанавливает порванную связь поколений. В прошлом этот спасительный подъем зарождался в минуты грозной опасности, в глубочайших народных страданиях. В нынешнем центре всероссийских событий — в Московском Кремле — каждый камень свидетельствует о той духовной силе, которая некогда создала Россию. Отсюда — совпадение памятников церковного и государственного строительства. Расцвет могущества московского государства, завершение национальной победы над татарами ознаменовались сооружением кремлевских соборов. Их золотые главы, которые как горящие свечи, теплятся к небесам, представляют собой гениальное образное выражение народной молитвы за Россию. А на Красной площади — другое напоминание о той же связи духовного и мирского — храм Василия Блаженного, построенный в память покорения Казани. Фантастические узоры его ярких цветов и красочные купола, вьющиеся по крестам, говорят нам о могучей растительной силе земли, которая движется к небесам Божьей благодатью. Вся та красота земли, о которой говорит этот храм, рождается из подъема ко кресту.

Когда в 1917 году народная жизнь сдвинулась со своих вековых основ, эти храмы стали чуждыми и непонятными народу. Об этом отчуждении свидетельствуют и сейчас простреленные церковные главы да запертые ворота Кремля, который стал местопребыванием китайцев и латышей.

Трудно было найти более яркое символическое изображение судьбы, постигшей Россию. Московский Кремль — обычное образное олицетворение русской державы — отнять у народа, утратившего свою святыню. Он перешел к китайцам и латышам с того дня, когда русские солдаты стали сами расстреливать свои храмы.

Но кончился этот мрачный период самоубийства народного, Россия снова возвращается к забытым святыням. Долго ли, коротко ли продолжится положенный ей срок очищения, про то мы не знаем. Одно достоверно — когда срок этот кончится, кремлевские соборы снова будут наши. Утраченное царство вернется лишь тогда, когда вернется одухотворяющая его благодать.

Вопрос о том, как и когда это совершится, важен не для нас одних. Во всем мире назревает попытка перестроить общество на материалистических началах. Всем народам угрожает один и тот же провал в темную глубину звериного царства. Наши русские события — не более как местное проявление великой мировой драмы. Поэтому процесс духовного возрождения, который начинается теперь в России, имеет не местное только, а общее мировое значение.

Вопрос ставится необыкновенно остро: что восторжествует в мире — человеческое или звериное? История дает на этот вопрос ясный и глубоко поучительный ответ. Человечество может быть спасено от угрожающего его падения только через подъем в высшую нечеловеческую сферу. Как только человеческая жизнь сдвигается со своих религиозных основ, она тотчас утрачивает все специфически человеческое и роковым образом подпадает под темную власть звериного царства.

Человек не есть высшее в мире существо. Он выражает собой не только конец, куда мы стремимся, а только серединную степень мирового подъема. И вот оказывается, что на этой серединной ступени остановиться нельзя. Человек должен сочетаться с Богом или со зверем. Он должен или пережить себя, подняться над звездами, или провалиться в пропасть, утратив свое отличие от всего, что на земле ползает и пресмыкается. На свете есть две бездны, те самые, о которых некогда говорил Достоевский, и среднего пути нет между ними. Все народы мира должны решить ясно и определенно, к которой из двух они хотят принадлежать.

Тот путь звериного царства, куда большевизм увлекает мир, есть путь смерти. А тот, другой путь, куда теперь поворачивается русское народное самосознание, есть путь воскресения. В этом и есть то освобождающее слово, которое должно спасти Россию, а с ней вместе все народы Вселенной.

Василий Криворотов

«Придворный ювелир» — одно из ранних произведений Василия Ивановича Криворотова, с которым русский инженер-эмигрант входил в Литературу. Этим обуславливается некоторая «непропорциональность» повествования, не всегда гладкое построение сюжета. Но ограничившись такой характеристикой произведения, мы тем самым бы породили весьма однобокий взгляд на него. Поэтому необходимо добавить — «Придворный ювелир» это еще и нетрадиционное рассмотрение такой одиозной фигуры, как Григорий Распутин и его окружения. В частности секретаря Старца — Аарона Симановича, который, по мысли автора, умело манипулировал Распутиным во имя своего влияния на Двор и на саму царскую семью.

Публикуя «Придворного ювелира» В. Криворотова, мы считаем, что, несмотря на некоторую спорность суждении и «шероховатость» повествования, произведение должно стать в эпоху гласности известно не только узкому кругу специалистов по творчеству литераторов Русского Зарубежья, но и широкому читателю. Тем более, что искренность убеждений и чистота помыслов автора несомненны. («Не можем мы — русские перестать клеветать незаслуженно сами на себя? Мы можем и должны говорить и писать о наших недостатках, которых у нас немало, но должны делать это правдиво, не забывая об уйме прекрасных качеств наших русских людей. Односторонностью мы ложно представляем нас самих перед другими и принижаем психически наш народ, лишая его здоровой национальной гордости и независимого характера», — твердо считал В. Криворотов).

«Придворный ювелир» был опубликован в 1975 году в Мадриде и на родине литератора никогда не печатался.

ПРИДВОРНЫЙ ЮВЕЛИР

Распутиниада и ее секретарь

В конце июля 1916 года усадьба помещика Мураховского представляла из себя редкое зрелище. Уже давно не появлялось в имении столько гостей, как в эти жаркие июльские дни. Двери парадного входа усадьбы стояли настежь открытыми, а перед домом вся подъездная дорога и та, другая вдоль леса, были заняты экипажами разного сорта, до обыкновенных тарантасов включительно. Группы людей, мужчин и женщин, стояли тут и там между рядами тополей в живом разговоре, а другие шумной толпой поднимались по широкой лестнице и исчезали за широкой дверью в доме. Со стороны главной дороги, ведущей сюда из села Ровенки, слышался звон колокольчиков, крики и смех других гостей, спешивших в экипажах к усадьбе.

У Мураховских справлялась свадьба единственной дочери, выходившей замуж за Фадеева. Андрей Иванович с тяжелым сердцем согласился на этот брак, и не потому, что имел против него что-либо, а потому, что с выходом Мурочки замуж его озеровский дом пустел еще больше, а он сам оставался в нем совсем одиноким.

Молодые повенчались в Ровенках. Андрей Иванович предлагал дочке отпраздновать свадьбу в Харькове, в доме тети Поли, на чем та энергично настаивала, но Мурочка и ее жених решили сделать это в своем дорогом Озерове. Тут родилась и созрела их любовь, тут и решили они закрепить ее законным браком.

Гостей на свадьбу съехалось множество, и не только из Харьковщины. Приехали дедушка и бабушка из Полтавщины. Дедушка, отец Алексей, еще издавна мечтал дожить до свадьбы внучки и повенчать ее лично. Многие родственники прибыли из Москвы и даже из далекого Питера. Из Петрограда приехала на свадьбу старшая сестра Андрея Ивановича Наталия с мужем, служившим при дворе, и со старшей доче

рью, муж которой, кавалерийский офицер, пал смертью храбрых где-то под Варшавой.

Андрей Иванович делал все возможное, чтобы свадьба дочки была беззаботной и веселой, хотя достичь этого было не легко. Почти в каждой семье к этому времени люди или носили траур по своим родным, павшим на поле брани, или день и ночь думали о тех своих близких, которые где-то на гигантском фронте постоянно и долгие годы закрывали своей грудью Родину против неисчислимых врагов: германцев, австрийцев, болгар и турок. О победном походе в Берлин давно и никто больше не говорил. Начальные успехи брусиловского наступления в начале войны на австро-венгерском фронте были лишь временным общим подъемом духа. Перемышль, Львов, Краков, Черновицы были теперь давно забытыми вспышками этого подъема. Их потери и жертвы, связанные с ними, оставили в войсках и в народе тяжкое, удручающее впечатление, которое стало зачатком общей усталости от войны. Союзники на западе, после неудавшегося, благодаря стремительному вторжению русских войск в Восточную Пруссию, «Молота Мольтке» на Марне, поспешили перейти к позиционной войне. Они зарылись в землю, скрылись за железобетонными сооружениями и отгородились от немцев чащей из колючей проволоки. Со своими техническими средствами: артиллерией, пулеметами, бомбометателями и авиацией — они буквально прижали германский фронт к неподвижной линии, не предпринимая ничего, чтобы оттянуть хотя бы часть неприятельских сил с русского фронта. Русские армии в постоянно подвижной, маневренной борьбе и под огнем во много раз превосходящего оружия германцев истекали кровью. Борьба врукопашную, в штыки и голой шашкой обходилась русским очень дорого, так как они должны были добираться до своего врага под его ураганным огнем: пулеметным, оружейным, гранатным и «артиллерийскими валами»*. Русские войска были несравнимо слабее вооружены и снабжены. Не доставало всего: снарядов, патронов, перевязочного материала, медикаментов и транспорта. Наверстывалось все во время войны с перенапряжением сил тыла и с огромными потерями на фронте. Обещанной помощи союзников не было. Ни обещанных винтовок, ни амуниции, ни медикаментов русская армия от них не получила.

Но все это было бы лишь полбеды. Война — народное бедствие, которое народ понимал, последствия которого терпел и из последних сил старался исправить ошибки, допущенные перед войной. Народ в состоянии даже забыть и простить ошибки тем, от кого главным образом, зависело снаряжение армии и инициатива вмешательства в войну. Для этого он должен был видеть и чувствовать жертвенную готовность ответственных верхов исправить свои ошибки, уменьшить число ненужных жертв и поднять этим путем народный дух и волю к борьбе. Вялость же, неуверенность, непонятное равнодушие на верхах, а, быть может, и неспособность этих верхов делать большие дела чувствовались повсюду. Уход с поста главнокомандующего Вел. Кн. Николая Николаевича был именно так истолкован в народе. В стране ощущалась к этому времени какая-то удручающая неопределенность, неосведомленность и гнетущее сомнение. Это положение создавало благодатную почву для разного рода самых невероятных, умышленно-лживых в своем большинстве, слухов. Все эти слухи не были народной выдумкой. Кто-то по плану и с определенным умыслом стряпал эти слухи и через многочисленных суфлеров распространял их среди народа в тылу и даже на фронте.

«Там, где нужны снаряды, туда посылают сухари». «Кавалерия получает лопаты для рытья окопов, а пехота — седла»,— поползли слухи в народе.

«Военный министр — изменник, и, гляньте, царь его терпит»,— зашептали в народе. При этом кто-то старался имена Сухомлинова и Мясоедова обобщить со всем высшим командованием армии.

«Гляньте, добрые люди! Царь поставил немца — Штюрмера, министром. Куда же тут нам победить Германию!» — шептали дальше злоумышленники-суфлеры в народные уши, не объясняя того, что за немецким именем Штюрмера скрывался еврей-выкрест, отец которого был семинаристом в первой вильненской школе раввинов и никогда не звался Штюрмером. Это имя отец «русского» министра присвоил позже, став учителем гимназии, а еще позже — и дворянином. Царь доверил такой важный пост еврею, а его выставляли во всем мире антисемитом и упрекали за черту оседлости.

Потом эта история с сахарной спекуляцией. В народе был распространен слух о том, что неприятельской Германии было продано большое количество сахара и выслано туда через Персию. Хозяйки, стоя часами в очередях за своим пайком сахара, только и говорили о том, что Мясоедовы и Сухомлиновы и дальше предают Россию, а правительство ничего против них де не предпринимает. Сахар же, в самом деле, был продан Германии и был вывезен туда через Персию, но кто были продавцы-преступники, власти народу не объяснили, как не пытались противодействовать и объяснять злоумышленности многих других слухов, создававших скверное настроение в народе. Власти не объяснили народу, что афера с сахаром была делом киевского фабриканта сахара И. Хеппнера и других евреев, которые были арестованы, обвинены в измене и ждали в тюрьме соответствующего приговора.

Слухи о Старце Распутине занимали народные массы и особенно интеллигенцию уже давно. В народе Распутин вначале пользовался даже симпатией. Он ведь спасал царевича Алексея от неизлечимой болезни, от гемофилии. В широких народных массах царевич Алексей пользовался большой популярностью, любовью и, впоследствии, сочувствием. Со временем же слухи о Старце Распутине стали принимать совсем иной смысл и значение. Ненавистники самодержавия и порядка в России избрали сибирского мужика, подступившего, в силу обстоятельств, близко к царской семье, своим орудием для того, чтобы через его особу бросить грязное пятно на высшую государственную власть и подорвать к ней доверие.

«Распутин заворачивает всеми и всем при дворе». «Распутин смещает и ставит министров, как ему вздумается». «Распутин поставил «немца» Штюрмера на пост президента министров. Он немецкий шпион, а царь прислушивается к нему и принимает его советы». «Немецкий шпион Распутин приведет Россию к гибели, если не...»,— шептали тайные суфлеры в народные уши, порождая глубокие сомнения, подозрения и возмущение. Все это еще больше расстраивало уставшую от войны народную душу и тем самым убивало в ней волю к отпору и располагало к апатии.

Незадолго перед революцией слухи о Старце Распутине стали принимать самый отвратительный смысл. Тайные суфлеры рассказывали народу о разгульной, развратной и бесшабашной жизни Старца в Петрограде, связывали его имя с кругом высшего дамского общества столицы, нашептывали об оргиях, разврате и мистическом преклонении дам перед сибирским мужиком. В кругах интеллигенции и полуинтеллигенции приводилось в связь с развратным сибирским мужиком имя Вырубовой, самой приближенной к царице придворной дамы, да и самой государыни.

Ужасная цель всех этих слухов и нашептываний была совершенно ясна. Народ, подавленный неуспехами на фронте, огромными потерями родных и близких людей и растущей материальной нуждой, был склонен к поискам причин своих несчастий. Народ предполагал, что кто-нибудь, где-то там, виноват во всем этом; кто-нибудь, где-то там, распоряжался неправильно его судьбой и, не получая сверху ни ответа, ни объяснения своих сомнений, стал прислушиваться к международным суфлерам, ловко переплетавшим действительность с бессовестной ложью.

Подпольная анонимная сила бросила народные массы перед самой войной, когда жутко встал вопрос, быть или не быть бессмысленной мировой бойне, на улицы и площади русских городов. Она направила эти массы с портретами царя в руках пред царский дворец, задала им тон, чтобы те пели «Боже, царя храни!» и кричали: «Да здравствует война!» Она годами по плану готовила массы к запроектированной ею войне, годами писала в своей печати и говорила устами своих русских единомышленников о славянофильстве и о «славянских ручьях в русское море». И, наконец, в самый решительный момент она мастерски разыграла в русском парламенте.— Государственной думе, через своих русских говорунов Милюковых, Гучковых, Черновых и многих, очень многих на улице и в печати, предательскую сцену непоколебимого единства русского народа в случае войны. Анонимная сила убедила всех, объединила всех, принудила царя и «сделала» свою войну с тем, чтобы сразу после ее начала повернуть острие копья и против царя, и против народа. Еще до войны, в сентябре 1910 года, съехался со всего мира в Копенгаген большой конгресс 2-го Социалистического Рабочего Интернационала*. В зале Одд Феллов Иаласта собралось множество мировых братьев, представителей великих лож всех стран мира. Между другими были тут такие имена, как: Эберт, Шайдеманн, Ульянов, Бронштейн, Вандервельде, Жорес, Брантинг, Адольф Хоффман, др. Франк, др. Давид, др. Зюдекум, Карл Каутский, Штадхаген, Роза Люксембург, Либкнехт, Клара Цеткин и многие другие мировые братья. Подавляющее большинство из этих «рабочих» не случайно были евреи. Они были терпящимся меньшинством в мире, но почему-то подавляющим большинством во всевозможных представительствах этого мира. Брат Бриан не появился на конгрессе, так как занимал в это время пост президента министров Франции. В своем письме к конгрессу он обещал, как шеф французского правительства, делать все, чтобы помогать развитию «социализма». Конгресс недвусмысленно занялся вопросами поведения своих революционных авангардов в Германии, Австро-Венгрии, России и Турции во время войны. Конгресс решил установить в случае неминуемой войны, для всех рабочих партий этих воюющих стран совместное сотрудничество и стремиться из всех сил к тому, чтобы использовать политический и экономический кризис, который грядущая война неминуемо вызовет в тылу именованных стран. Было поставлено де-

* Ураганный огонь многочисленной, концентрированной артиллерии, покрывавшей и сравнивавший с землей целые участки русских позиций.

* Ген. Людендорф: «Как была «сделана» мировая война 1914 г.» — на немецком языке.

лать все возможное для того, чтобы вызвать возмущение народных масс и ускорить устранение в этих странах существующих монархических правительств.

Зная об этом, легко отгадать, кто такие были суфлеры, которые так назойливо, не давая передышки, засыпали русский народ состряпанными ими слухами.

На следующее утро после свадьбы в Озерове было тихо. Пиршество затянулось за полночь. Многие гости из окольных мест сразу разъехались по домам, а приезжие издалека спали теперь крепким сном. Андрей Иванович поднялся, по привычке, рано. Он сразу отправился на верхнее озеро, на пляж, чтобы освежиться в его прозрачной воде. Переплыв озеро на другую сторону, он улегся на траве, чтобы отдышаться. Он думал о новостях, о которых ему коротко рассказал муж сестры Наталии, приехавший из Петрограда, Рамсин.

Андрей Иванович чувствовал уже давно, что на Россию надвигаются мрачные тучи, что эти тучи заволокли уже все горизонты кругом, что каждую минуту можно ожидать первого оглушительного удара грома. О подрывной работе анонимных врагов он знал давно. Он наблюдал за нею постоянно, хотя противопоставить ей ничего не мог. Разрушительной работе врагов помогало все. Казалось, что сам Бог восстал против России и ее народа, отступил от них, отняв у них дух и дерзновение. Новости из Питера иначе истолковать было нельзя. Они говорили о том, что страна с трудом защищалась на внешних фронтах, но еще меньше того в тылу. Бессильные и, как казалось, равнодушные ко всему власти не предпринимали ничего, чтобы поставить барьер хозяйничавшим без стеснения в стране и, еще больше того, в самом Петрограде эмиссарам темной силы. В высших правительственных кругах воцарились нерешительность, безволие и равнодушие ко всему тому, что происходило в отдельных министерствах, где вдруг и необъяснимыми путями появлялись совершенно неизвестные люди и занимали важные посты. В высшем придворном кругу не переставали плестись интриги за положение при Дворе, за влияние и за материальные интересы. Высшая знать и даже многочисленные члены императорского дома вели себя так, как если бы никакой войны и невыносимых ее тягот вообще не было. Роскошные пиры и балы не переставали. Молодые князья, вскоре после геройской гибели князя Олега Константиновича, отступили с передовых линий фронта. Пример Олега испугал их. Они предпочли оставаться в Петрограде и ничего не делать, чем делить лишения и опасности с русским народом на фронте, подавать ему пример и служить своему царю по-настоящему. В этих кругах возник вдруг большой интерес к оккультизму. Появились какие-то медиумы и маги, ни происхождения которых, ни их квалификации и, еще меньше, их настоящих целей никто не знал. И мужчины, и женщины забыли, казалось, в своем большинстве и о здравом разуме, и о своем православии, и потонули в мистицизме, навеянном им этими проходимцами и шарлатанами. Они стремились заглянуть за завесу будущего, противоестественно выведать заранее все о своей жизни и судьбе, ожидая от своих медиумов и магов самых богатых посул в будущем, которые те им охотно и за хорошее вознаграждение давали, располагая их еще больше к бездействию и лени. Карма тут определяла все, и личные усилия людей ничего изменить не могли. Эти безрадостные новости из столицы, в самом деле, не предвещали ничего хорошего. Мураховский, лежа на спине и глядя в синеву неба, безнадежно качал головой.

— Когда Бог захочет кого-нибудь наказать, то лишает его разума, — сказал он вслух и, поднявшись, направился было вдоль берега к плотине.

— Андрей Иванович, боитесь плыть назад? — раздался вдруг голос с другого берега, с пляжа. Это был Рамсин, придворный чиновник из столицы.

— Нет, Сергей Николаевич. Я собрался прогуляться вокруг озера. Плывите сюда! — крикнул Мураховский шурину, стоявшему в купальном костюме и с полотенцем через плечо на другом берегу.

— Нет, нет, мой дорогой. Мое время прошло для таких упражнений. Задышка да судорога в ногах потянут прямо на дно, — ответил тот, сложив руки рупором.

Мураховский рассмеялся и, подбежав к берегу, прыгнул, как щука, в воду. Он вынырнул далеко от берега, отряхнулся и поплыл к своему гостю, взмахивая в такт сильными, загорелыми руками.

— Вы, Андрей Иванович, засиделись, как я вижу, в тылу. С таким здоровьем и мышцами — место на фронте, — засмеялся Рамсин, бросая на песок полотенце и направляясь к воде. Сергей Николаевич Рамсин был уже в летах. Его волосы на голове и на груди были совсем седыми. Лицо же, как контраст сединам, было удивительно моложаво. Казалось, покрась он брови и густые волосы на голове, мог бы выглядеть совсем молодым человеком.

Мураховский вышел на берег, обтирая обеими руками воду с лица.

— Доброе утро, Сергей Николаевич! Как спалось тут у нас в Озерове? — спросил он и, не ожидая ответа, продолжал, смеясь. — В воинском присутствии в Сумах тоже заметили мои мускулы. Через месяц, если не раньше, отправят куда-нибудь на фронт. Меня радует это, — серьезно сказал он.

— Доброе утро! Я спал замечатель-

но, хотя и мало. На Неве в наше время наблюдательным и думающим людям трудно спать спокойно. Тут у вас, Андрей Иванович, такое спокойствие и растворение воздухов, что можно подумать, что ни войны, ни всероссийского траура, ни этих наших тупиц в Питере нет. Я принимаю с благодарностью ваше предложение погостить тут у вас подольше. Наташа и Леночка очарованы вашим Озеровым, — сказал Рамсин и, помахав рукой, пошел в воду, окунулся раз, другой и поплыл вдоль берега, взмахивая белыми, без загара руками и громко хлопая ладонями по воде.

Пять дней спустя после свадьбы в Озерове остались тут из гостей: отец Алексей, тесть Мураховского с женой, сестра Наталия с мужем и дочерью из Питера и председатель Союза Отечественников Карсавин с женой и тремя детьми: двумя взрослыми дочерьми и сыном-гимназистом. Остальные гости, кто раньше, а кто позже, разъехались по домам. Молодая пара Фадеевых оставалась в Озерове еще три дня после свадьбы. Они, упоенные новшеством брачной жизни, по целым дням ходили по всему Озерову, в его самые дальние закоулки, где когда-то, многие годы тому назад, появились сначала ростки их детской привязанности, затем первые лепестки юношеской влюбленности и, наконец, расцвели цветы их взрослой любви. Они провели эти три дня в доме Лешневых на берегу нижнего озера. Их за эти три дня в Озерове почти никто не видел. В усадьбе они появились перед самым отъездом в Крым и, провожаемые молодыми Карсавиными, отбыли на тачанке со старым Савельичем на облучке на станцию Озерки. Жизнь в Озерове потекла дальше по своему обычному руслу в труде по имению или в дачной беззаботности тех людей, которые нашли тут отдых.

— Сергей Николаевич, мы можем послушать вас теперь со вниманием и без помехи. Вы не можете себе представить, в каком неведении о настоящем положении вещей живет русская провинция с тех пор, как началась война. В газетах ничего настоящего об этом нет, да им теперь никто больше и не верит. Если этим слухам поверить, то можно просто сойти с ума, особенно тому, который не предполагает их предвзятости и злонамеренности, — сказал Мураховский, приглашая своих гостей движением руки к креслам в большом зале усадьбы. Тут царил полумрак и было прохладно.

— Эта неосведомленность о настоящем положении на фронте и особенно в Петрограде царит не только в провинции. Такая же самая неопределенность царит и в Москве, а слухи да критика там похуже. В Москве среди интеллигентов эти слухи часто принимаются за чистую монету, и редко кто воздерживается от критики, — сказал Карсавин, садясь в кресло рядом с отцом Алексеем.

— Эти слухи, господа, к сожалению, имеют свои основания, — тихо вмешался Рамсин в разговор, раскуривая потухшую трубку. — Они опасны именно тем, что имеют какое-то реальное основание. Сначала создается реальное основание. Персонажи будущего слуха хитро и исподволь наводятся на тонкий лед, действуют, как им кажется, по своей личной воле и из-за самых разумных побуждений. Когда сцена сыграна и стала явным происшествием, сообщена, так сказать, в газетах, тогда только начинается постройка слуха и отправка его на народный рынок. О том же, кто смастерил сцену и кто заставил ее персонажи играть свои роли так, а не иначе, решать очень важные вопросы так, а не иначе, об этом на народном рынке никто не знает, да и не узнает. Например, каким-то инкогнито было необходимо поставить «немца» Штюрмера на чрезвычайно важный в данный момент пост президента министров. Очень немногие люди в России знают о том, что за таким германским именем, как Штюрмер, скрывается не немец, а еврей-выкрест, отец которого посещал в Вильно школу раввинов и никогда Штюрмером не назывался. Этот еврей-выкрест был образованным человеком, учителем гимназии и даже стал заслуженным дворянином. Всем вам известно, что многие евреи-выкресты у нас пользуются полным равноправием и могут занять в обществе любое положение. Отец убийцы Столыпина, как вам известно, тоже был долголетним членом дворянского клуба в Киеве, хотя и был еврей. Дело тут, в моем примере, не в министре еврее, а в том, как на имени Штюрмера был построен опасный слух, подрывающий авторитет нашей верховной власти в самый напряженный момент борьбы против нашего главного и опасного противника Германии, — продолжал Рамсин, заглядывая во вновь потухшую трубку.

— Я так и понял этот слух, Сергей Николаевич, — сказал Лешнев, подавая Рамсину свой кисет с табаком, — но я не предполагал за этим Штюрмером еврея. Почему бы у нас какому-то немцу по происхождению не стать военным министром, если целой армией против Германии командует Ренненкампф, а гвардейской дивизией заворачивает тоже немец, Раух. Да и сколько их у нас на высших и низших постах в армии. Многие из них чувствуют и ведут себя русскими лучше, чем сами русские, — продолжал Лешнев.

— Совершенно верно. Никто из наших бывших немцев до Сухомлинова пока не дошел, — согласился Карсавин.

— Я весь внимание, — обратился Мураховский к Рамсину. — Что там о «немце» Штюрмере?

— Дальше в моем примере о постройке слуха выступает личность Стар-

ца Распутина, — снова взял слово Рамсин. — Этот таинственный для многих людей человек для меня лично не является больше тайной. Простой, грубый и несуразный селянин, он стал теперь опасным оружием в руках темных сил, в которых я с уверенностью предполагаю тех, которые мастерят разные опасные слухи у нас в России. Позже я могу поделиться с вами подробнее о личности Распутина, с которым я часто встречался и подробно знаком с историей его приближения ко Двору. Уже несколько лет прошло, как Распутин попал в руки своего первого секретаря Аарона Симановича, еврея по народности, который, могу сказать с уверенностью, приобрел над Старцем неограниченное влияние.

— Вам всем должно быть известно о положении Распутина при Дворе. Годами этот человек был единственной гарантией жизни цесаревича Алексея. Медицина во всем мире оказалась беспомощной, чтобы защитить от смерти этого драгоценного для России и еще больше для его царственных родителей мальчика, так долго мечтавших о его появлении на свет. Только Распутин доказал свою удивительную мощь, спасая неоднократно наследника престола от верной смерти. Что могли и что должны были делать августейшие родители и особенно царица как мать? Вполне естественно, что Старец был представлен царской паре, был допущен к умирающему царевичу, и, спасши его один, другой, третий раз, был задержан вблизи царской семьи. Это не имело бы, по моему мнению, никаких глубоких последствий, если бы не произошла война, если бы не было людей, близко стоящих к трону, с болезненным эгоизмом и неутолимой амбицией и, самое главное, если бы охрана трона и царской семьи от происков разных анонимов находилась бы в руках людей безусловно преданных, политически образованных и особенно умных. Распутин, попав в руки Аарона Симановича и его темной клики, стал орудием самого бессовестного и наглого шантажа, какой когда-либо раньше имел место у нас в России. Этот еврей Симанович, действуя через Распутина, добился того, что другой еврей-выкрест, скрывшийся за прусским именем Штюрмера, занял важный пост министра. Темные силы явно преследовали при этом две цели: поставить на ответственный пост своего расово-преданного человека и, выдав его за германца, дискредитировать в глазах народа верховную государственную власть, утвердившую его на этом посту. Совершенно нет сомнения в том, что царица, из-за вышеприведенных причин, как женщина, как мать поддалась настояниям Распутина, и «Штюрмер» был поставлен на ответственный пост. Царь, чувствуя себя со своими неисчислимыми заботами одиноким и усталым, последовал настояниям жены и утвердил «Штюрмера» на этом посту. Теперь для темных, надгосударственных инкогнито было легко построить слух и пустить его в народ. Необоримое основание было готово, было ясно и неопровержимо. Виновата ли наша верховная власть, то есть царь и царица в этом? По моему мнению, да! Но в море лжи, предательства и измены даже со стороны самых близких людей окружения как можно было им не допустить тут и там ошибок? Об этом нужно знать, чтобы понять и затем простить.

Рамсин глянул на своих слушателей, переводя взгляд с одного на другого, и добавил, усмехнувшись:

— Еще раз прошу вас, господа, ни с кем не говорить о том, что вы тут слышали и дальше услышите!

— Мы дали наше слово, Сергей Николаевич, — живо, почти в один голос, ответили Карсавин и Мураховский.

— Вон куда уже забрались анонимы. Какое нахальство, какая подлость и неразборчивость в приемах! Неужели, Сергей Николаевич, никого там не осталось, кто бы поднес кулак к носу этого Симановича? — спросил Лешнев, морща лоб и глядя как-то вызывающе на Рамсина.

— Огромное большинство ничего вообще не подозревает, это во-первых. Во-вторых, Симанович и компания давно уже позаботились о том, чтобы официально против них ничего предпринято не было. Ощутимых улик нет, доказать ничего нельзя. Я убежден в том, что этот Симанович на своем распутинском предприятии зарабатывает, кроме всего остального, большие деньги, опутывает многих, даже видных и высокопоставленных людей, своей паутиной, подкупает и ставит их в шантажную зависимость от себя. Симанович — ювелир-ростовщик и шантажист по призванию. Вздумай я, например, отправиться в Охранное отделение и доложить кому следует о том, о чем поведал вам тут сегодня. Там сделали бы большие глаза и заподозрили во мне или сумасшедшего, или умышленного оскорбителя высших авторитетов, запрятали в каталажку и предали бы суду. Если бы, паче чаяния, мне поверили и арестовали Аарона Симановича, Распутин освободил бы того в два счета из тюрьмы, а меня посадил бы на его место. Вы не можете себе представить, как велико влияние Старца на царицу. Под его гнетом страдает и сам царь, делая сознательно такое упущение, как утверждение Штюрмера на посту министра. Это заколдованный круг, господа, в центре которого стоит Распутин и по суфлерской подсказке своего первого секретаря делает все, что тому угодно. Сам же Аарон Симанович остается строго в тени. Он уважаемый, корректный и услужливый ювелир высшего круга в Петрограде, со многими весными связями и обширным знанием всего

того, кто, как и от кого зависит. Я провел не одну бессонную ночь, думая о том, как положить конец симановичевской камарилье в Питере, и всякий раз приходил к одному и тому же выводу: для того чтобы положить конец шантажу Аарона Симановича, нужно убить Старца Распутина. Что вызвало бы после это убийство, я не имею храбрости даже подумать. Симанович думал и об этом и плетет свою паутину с библейской безошибочностью дальше. Я часто думаю о том, не связано ли уже дальнейшее существование нашего самодержавия с жизнью сибирского Старца? — задумчиво закончил Рамсин и принялся чистить свою трубку.

Мураховский с сосредоточенной миной на лице наполнил стаканы вином и грузно опустился на кресло. Воцарилось молчание.

— Невообразимо... Как-то в голову не идет, что что-нибудь подобное возможно, хотя библейские случаи в Египте и Вавилоне напоминают нечто похожее, — сказал Андрей Иванович с выражением боли на лице.— От Лозовского я слыхал, что царь избегает встреч с Распутиным, старается оградить себя и семью от его влияния. Стоит ли жизнь безнадежно больного цесаревича благополучия, а, может быть, и дальнейшего существования Российской империи? — спросил он, задумчиво глядя на Рамсина.

— Наш государь слишком семьянин, слишком человек благого нрава, чтобы решить создавшиеся против его воли обстоятельства силой. В этом, быть может, заключается большое несчастье России. Этот вопрос немногим сознательным людям в Петрограде кажется неразрешимым, так как характер царя изменить нельзя. На его месте теперь должен был бы стоять монарх жесткий по характеру, способный пожертвовать и семьей, и относительной наклонностью к себе многочисленного окружения, которое не помогает ему, а только мешает. Оно пудовыми гирями висит на его руках и ногах. Царю не дано разрубить этого заколдованного узла. Да и никакой другой монарх без серьезной подготовки заранее, без необходимого подбора безусловно преданных людей и серьезно обдуманного плана не в состоянии был бы сам — один решить этот вопрос в создавшейся обстановке. Все это темные силы учли; детально, до мелочей, все обдумали и наложили нам петлю на шею. В Вавилоне они убили семьдесят тысяч, у нас они убьют нашими же руками миллионы, — ответил Рамсин и, поднеся стакан с вином к губам, жадно отпил несколько глотков.

— Вы, Сергей Николаевич, пообещали познакомить нас с личностью Распутина и с историей его подъема при Дворе. Склонны вы поведать нам об этом? — спросил отец Алексей, молчавший доселе и слушавший с большим вниманием Рамсина.

— Я расскажу, батюшка, и об этом, так как это откроет перед вами истинную сущность характера Старца Распутина и объяснит то, как он попал в руки мировых проходимцев и почему сделался оружием в их руках, — ответил Рамсин и, поднявшись с кресла, пошел по залу туда и сюда, как бы обдумывая то, о чем собирался рассказать. Его слушатели остались молча и сосредоточенно сидеть на своих местах. Каждый думал о слышанном и по-своему переживал его смысл. Рамсин вернулся, наконец, на свое место и, усмехнувшись, начал свою повесть о Распутине.

— Впервые я видел Старца, когда его спешно привезли в Царское Село, в Александровский дворец, где пребывала царская семья. Это было в седьмом или восьмом году, точно теперь не помню. Царевич переживал особенно сильный припадок своей беспощадной болезни, и Распутин в короткий срок, при помощи какой-то древесной коры, размоченной в теплой воде и положенной им на лицо мальчика, восстановил его здоровье. Отец и мать присутствовали при этом, и можно себе представить, что они думали и чувствовали. Распутин стал частым гостем во дворце. Царственные родители принимали его запросто в кабинете государя и с интересом прислушивались к его незатейливым рассказам о Покровском, о Сибири и о хождениях по святым местам. Этот их гость был русским крестьянином, простым, незатейливым и откровенно честным. Он не требовал за свою огромную услугу ничего и, казалось, не придавал себе лично никакого значения. Он был счастлив быть полезным своему царю и его семье. И в самом деле, Распутин меньше всего интересовался материальными благами, деньгами и удобствами жизни...

Рамсин умолк, с тем чтобы глотнуть вина и раскурить трубку. Мураховский подлил вина в стаканы и тоже закурил папиросу. Лешнев, ковыряясь в своей трубке, поднял взгляд на Рамсина и спросил:

— Очень интересно, Сергей Николаевич, имел ли этот Распутин какую-нибудь политическую ориентировку в голове? Я слыхал несколько раз и в Ровеиках, и в Шелоховке от тамошних мужиков о том, что Старец, пользуясь своей мощью врачевания недуга наследника престола и приближенностью к царю, заступает перед ним интересы крестьянского сословия. Земельную реформу у нас некоторые из них приписывают влиянию Распутина при Дворе.

— Спасибо, что напомнили, Николай Николаевич! Это очень важно для понимания дальнейшей распутинской истории. Совершенно определенно, что Распутин имел свои политические взгляды. Эти его взгляды, я думаю, не имели какой-нибудь стройной, по параграфам писанной формы. В его голове ворочались те же мысли, какие уже давно за

нимали миллионы нашего крестьянства. Это не политика в узком смысле слова. Это стихийная тяга мужицкой России к правде и праву для всех, к улучшению элементарных условий жизни огромного, многомиллионного сословия. Крестьянство интуитивно чувствовало, что никто другой, как царь, Помазанник Божий, может решить положительно главнейшие вопросы его жизни и закрепить их законно. Я лично считаю наше крестьянство самым монархическим элементом в России, да, пожалуй, и самым устойчивым политически. Распутин располагал именно этой крестьянской идеологией и надеялся привести царя к единению с крестьянским народом. Около четырех лет он провел в соприкосновении только с крайними правыми кругами, к которым принадлежали великий князь Николай Николаевич и архимандрит Феофан. Он остался в кругу правых до тех пор, пока не убедился в том, что эти круги считали надежным основанием для царского престола только избранные сословия аристократии и высшего чиновничества, а крестьянское считали темным и ненадежным. Распутин понял также, что многие в этом кругу заискивали перед ним, мужиком, надеясь через его положение при Дворе достичь своих целей и влияния, а его презирали и даже ненавидели. Когда он открыто выразил свои крестьянские взгляды и осудил корыстолюбивые притязания знати, то правый круг оттолкнул его от себя и начал против него открытую вражду и преследование.

Высший круг правых был первым, ознакомившим широкие народные массы с личностью и деяниями Распутина. Те же самые круги не воздерживались даже от умышленной лжи и представляли его в отталкивающем виде. Он принужден был ради этого оставить Петроград и уехать в Иерусалим, чтобы посетить святые места. Вернувшись в свое село Покровское, он почувствовал, что почти для всех тут он был многопочитаемым и даже «святым Старцем». Его вызвала из Покровского государыня, умоляя в своем письме немедлённо приехать в Петроград и еще раз помочь наследнику престола против тяжелого недуга. По приезде в столицу Распутин пережил тут самое жестокое преследование со стороны своих противников из высшего круга, решивших отстранить его во что бы то ни стало от августейшей семьи. Он почувствовал тут даже опасность для своей жизни. Епископ Гермоген, монах Илиодор и другие напали на него и угрожали даже смертью. Распутин, воздерживаясь доселе от жалоб кому бы то ни было на своих преследователей, обжаловал их на этот раз перед государем. Гермоген и Илиодор были сосланы, а Феофан, духовник царицы, был удален от Двора. Старец показал врагам свою силу, и они оставили его в покое. «Царь всего русского народа, а не только привилегированной верхушки. Крестьянству нужно дать землю, нужно закрыть водочную монополию и строить в деревнях школы и больницы»,— это была вкратце распутинская программа, которую он выражал не раз, но с которой никак не могли согласиться правые круги.

Распутин со своим мощным влиянием при Дворе остался одиноким. Раньше его возили по этому городу и за ним ухаживали люди правого круга, теперь же не было с ним никого. Влиятельный Старец остался в своей полупримитивной жизни беспомощным ребенком, почти без средств и без ориентировки в столице. Обеспеченность его расходов жизни из царской казны не была регулярной, а сам он не умел, да и не имел охоты разумно распоряжаться своими средствами и самостоятельно устраивать свою жизнь. Высокопоставленные правые круги всего этого не учли, да и куда им было это учесть. Но зато учел все это Аарон Симанович* еврей, со своим отчетливым и ясным расовым сознанием и сообразительным ходом мыслей. Для него оставленный «на улице» Распутин был легкой и драгоценнейшей добычей, за которой он наблюдал уже давно.

Рамсин поднялся с места и, взяв стакан с вином, стал прохаживаться туда и сюда по залу. Он отпивал глоток вина и ходил дальше задумавшись, отпивал другой и продолжал шагать. Он подошел вдруг ближе к слушателям и начал, не садясь, повествовать дальше.

— Не известно, что было бы, если бы правые круги не оттолкнули так безрассудно Распутина от себя. Они могли бы этого влиятельного человека как-нибудь успокоить, хотя бы для виду согласиться с ним и не выпускать его из-под своего контроля. Они могли бы подчинить себе его покладистый характер и даже имели бы большие шансы использовать его тут и там, если не для личных, эгоистических целей, то для целей отечественных. Но, к сожалению, у нас в Питере давно уже нет среди высокопоставленных особ людей дальновидных, людей государственного ума. Все там у них решается с точки зрения кастовой, с точки зрения чисто сословных интересов. Никто там даже не подумал о том, что такая величина, какой стал к этому времени Старец, могла быть использована врагами России, тайными агентами которых

* Аарон Симанович покинул Россию перед революцией с большими средствами, сколоченными им в Петрограде. После войны дочь Распутина, Мария, нашла его в Берлине, хотя тот отказался помочь ей. Симанович издал в 1928 году свою книгу «Rasputin, der allmächtige Bauer», в которой с бессовестной откровенностью и заносчивостью подробно описал всю свою деятельность в Петрограде, которой послужил на пользу мировому еврейству и на позор и осквернение России. Аарон Самуилович Симанович числится в списках русских масонов в эмиграции, изданных Н. Свитковым.

была полна столица. В окружении великого князя Николая Николаевича были люди, хваставшиеся своими познаниями тайной европейской политики и происков мирового заговора, но, очевидно, это было лишь легкомысленным бахвальством, за которым скрывались умственная бедность и духовная нищета. Господа, мы так богаты там, на верхах, этой умственной бедностью и духовной нищетой, что даже обидно становится. Эта нищета, мне кажется, будет стоить нам очень дорого.

Рамсин сел на свое место, допил вино и продолжал:

— Симанович*, как я уже сказал, был умнее некоторых из наших князей. Он предложил Распутину помощь... материальную и «духовную». Симанович был не намного моложе Распутина. Он происходил из небогатой еврейской семьи в Киеве. Изучил там ювелирное дело и скоро приобрел собственную мастерскую. Киев скоро показался ему узкой провинцией. С помощью родственников жены, живших в Петрограде, и еще больше через протекцию жены министра Витте, Матильды, еврейки по национальности. Симанович переселился в северную столицу. На новом месте он скоро пошел в гору и достиг того, о чем давно мечтал: богатой и удобной жизни. Он узнавал тут людей, искал выгодных знакомств и успешно пробирался в среду людей высшей сферы, с которыми знакомился в игорных клубах и на скачках. Он был многим, игравшим в клубах, постоянно под рукой, если те вдруг нуждались в деньгах. Он познакомился вначале с братьями — князьями Виттгенштейн, офицерами царской гвардии. Следующее знакомство он сделал с гофмейстером Двора, французом Поансе, с которым вместе открыл игорный дом, который пайщики скрыли под безобидной вывеской шахматного клуба. Симанович скоро узнал о слабостях царского окружения, о непонимании и беспомощности этих людей вести свое хозяйство, о постоянной их нужде в деньгах, о их страстях и недостатках. Он легко знакомился с ними в своем игорном клубе, был у них постоянно под рукой в случае проигрыша. Этим путем, тут больше, там меньше, он привязывал их к себе, а часто даже ставил некоторых из них в зависимость от себя. Так, он заинтересовал обоих князей Виттгенштейн стать пайщиками своего игорного клуба и этим путем сделал их послушным орудием своих дальнейших происков при Дворе. Своими займами, деловыми советами и непосредственной помощью при заключении разных сделок он сделал себя в придворных кругах настолько популярным и нужным, что скоро знал всех, имел дело с особами самого высокого положения. Он обдуманно и не спеша пробирался в царский Двор, расставляя свои силки, разузнавал о слабостях и о скандальной стороне жизни вельмож и готовился к шантажу высокого стиля. Круг своих клиентов Симанович поделил на две группы. Люди, важные для его дальнейших планов, пользовались у него даже беспроцентными займами, а ювелирные вещи выплачивали ему дешевле и в рассрочку. Люди меньшего значения должны были платить на позаимствованные деньги ростовщические проценты. Круг должников Аарона Симановича, состоявший из влиятельных людей и молодых аристократов, постоянно рос. Он был уже знаком даже с людьми из свиты государя: с князем Дадиани, Амилахвари и со всеми офицерами царской охраны. Из приближенных к царице дам он был знаком с принцессой Орбелиани, с Вырубовой, с Никитиной и княгиней Астман-Галицыной. В дамском обществе высшего круга он слыл как самый солидный ювелир. Через посредство принцессы Орбелиани он был представлен и самой царице, которая нуждалась в совете опытного ювелира. Симанович с особым вниманием исполнял желания государыни и стал ее поставщиком разных драгоценностей. Он добился, наконец, своего. Он пробрался на царский Двор. Он стал «придворным ювелиром»**.

В русском обществе того времени существовало твердое представление о «лояльном, порядочном человеке-еврее», и для него все двери были открыты. Можно ли тут говорить о предубежденном антисемитизме свыше?

— Продолжительное время я не видел «пронырливого ювелира» в Петрограде. Куда он исчез, было мне не известно, — продолжал дальше свою повесть Рамсин. — Когда Аарон Симанович стал частным секретарем Старца, мне тоже не известно. Никому, я думаю, не было известно и то, какие отношения установились между этими двумя людьми, так диаметрально противоположными один

* Содержание повести Рамсина построено на основании замечательного исследования распутинского вопроса др. Рудольфом Куммером в книге «Rasputin, ein Werkzeug der Juden». Все выдержки приведены в переводе с немецкого.

** В своей книге «Rasputin, der allmächtige Bauer» Симанович с самодовольством и бахвальством писал между прочим:

«Мне была известна ее (царицы) экономность, поэтому я давал особенно низкую цену драгоценным украшениям, которые она покупала у меня. Купив у меня что-либо, она обращалась к своему придворному ювелиру Фаберже. Если тот поражался низкой цене купленных у меня вещей, то она была очень рада этому. Для меня же благонаклонность царицы была самым главным. Часто она покупала у меня драгоценности на отплату, на что я охотно соглашался и доставлял ей этим особенное удовольствие. Особы из ее окружения также хотели покупать у меня драгоценности на таких условиях. Они старались через меня иметь выгоду, и я шел им охотно навстречу. Моей целью было завоевать благоволение ко мне этих людей, и я этого добился. Эти люди после старались быть признательными за мои услуги».

другому *. Я был один из немногих, и в этом я уверен, которые интересовались этой ненормальной и, я бы сказал, подозрительной связью. Впоследствии немногим в Петрограде стало ясно, что за действиями Распутина скрывается направляющая рука его секретаря Аарона Симановича. Не Распутин был той «темной силой», которая стояла позади царя и царицы и эксплуатировала их во имя благополучия безнадежно больного сына, а его секретарь, еврей.

В первые годы своей жизни в Петрограде Распутин вел спокойную и почти регулярную во всех отношениях жизнь. Позже он стал поддаваться уговорам других к выходам и выпивкам. Аарон Симанович стал всесторонне заботиться о том, чтобы разбудить у Старца его дремавшие страсти. Распутин получал от него для своего стола вина и яства, о которых сибирский мужик не имел раньше никакого понятия и, естественно, пристрастился к ним. Прилежный секретарь показал Старцу дорогу в разные увеселительные заведения, к разгулу, музыке, танцам и особенно к легким женщинам. Симанович разбудил у Распутина его примитивную, необузданную натуру и самые низкие ее инстинкты **. Старец с радостью следовал его советам и указаниям в этой области. Часто случалось, что он приглашал разных женщин в известные рестораны с цыганским хором и музыкой и устраивал тут настоящие ночные оргии, на которых часто пускался в пляс. Такая жизнь «шефа» стоила его секретарю, конечно, больших средств. И тем не менее, Симанович всегда и аккуратно расплачивался. Он давно уже выхлопотал у царя через Распутина пять тысяч рублей месячного обеспечения жизни Старца, а то, чего не хватало, доставал из «особого источника» ***. Распутин, не сопротивляясь, все больше и больше заходил в невод своего секретаря. Он не мог больше обойтись без него. Он чувствовал к нему настоящую привязанность и совершенное доверие, то есть то, чего Аарон Симанович и хотел добиться.

Новый случай болезни наследника Алексея в 1912 году, когда он повредил бедро, катаясь на лодке, привязал окончательно царскую пару к Старцу. Этим новым спасением царевича он прославился на всю Россию и по желанию царя навсегда переселился из села Покровского в Петроград. Слухи о его недостойной жизни, доведенные окольными путями до слуха царской пары, были истолкованы ею, как очередная клевета врагов Старца и категорически отвергнуты. Я думаю, что если бы царь и царица поверили этим слухам, то и тогда, скрепя сердце, задержали бы его при Дворе. Они были убеждены в том, что без него их сын давно уже не был бы среди живых. Успех Распутина был теперь исключительно успехом его секретаря, который строил про себя планы для использования этого успеха и готовился к этому.

Рамсин снова поднялся с места и заходил по залу, попыхивая трубкой.

— Не устали, господа слушатели? — повернулся он по-военному на каблуках, улыбаясь.

— О, нет, Сергей Николаевич! Это так интересно, — громко сказал Карсавин.

— Это все так необычно слышать, живя слухами, что я готов просидеть всю ночь, — живо сказал Мураховский и поднялся, чтобы разлить вино в стаканы. Лешнев и отец Алексей хотели тоже сказать что-то, но Рамсин не дал им.

— Бесповоротное приближение Распутина ко Двору, частые посещения его вызвали открытое возмущение в высших кругах петербургской знати. Особенно сильное возмущение царило при Старом Дворе вокруг императрицы-матери, Марии Федоровны, и ее окружения из великих князей. Этих людей до глубины души оскорбляло то, что у самого престола свободно вращался простой, безэтикетный мужик и тем более то, что этот мужик влиял в какой-то степени на внешнюю и внутреннюю политику государства в смысле совершенно противоположном их мнениям и желаниям. Разногласия между государем и Старым Двором выросли уже давно, еще до появле-

* Аарон Симанович писал об этом в своей книге «Rasputin, der allmächtige Bauer» так:

«Вскоре я был для него (Распутина) незаменим. Я заботился о всех его дневных нуждах. Мой жизненный опыт и мое знание условий жизни в огромном Петрограде импонировали ему. Я помогал ему найтись в нем. Много тут было для него ново и чуждо, и он привык обо всем спрашивать меня, искать моего совета. Я стал, таким образом, его секретарем, управляющим и защитником. Без моего совета Распутин не предпринимал почти ни одного серьезного шага. Я был полностью посвящен во все его дела и тайны. Если Распутин иногда становился невыносимым, я прикрикивал на него, после чего он вел себя, как провинившийся школьник. Никто не знал об этом ничего, но все кругом знали, что я через Распутина мог добиться почти всего от царя и царицы, от министров и от большинства других, власть имущих персон».

** Симанович пишет: «Человек с кипящим через край, страстным темпераментом нуждается в сильных, глубоко возбуждающих переживаниях». А в другом месте: «Распутин, как страстный мужчина, находился в самых лучших отношениях со всеми известными легкими дамами столицы. Метрессы великих князей, министров и финансовых магнатов были с ним в дружеских отношениях. Он знал поэтому все скандальные истории и любовные отношения влиятельных мужчин, ночные тайны большого света и умел использовать все эти сведения для того, чтобы расширить свое влияние в высоких правительственных кругах. Метрессы в то время имели особенно большое влияние, и дореволюционный Петербург показал в этой области в высшей степени заслуживающие внимания случаи».

*** «Поэтому я доставал деньги для Распутина из особого источника, которого я никогда не выдам, чтобы моим сородичам не нанести ущерба», — писал Симанович в своей книге, выдавая этим то, что Старцем было заинтересовано мировое еврейство.

ния Распутина. Началом для этих разногласий послужило давнишнее тяготение его к самостоятельному решению разных вопросов государственной важности. Высокое средостение в ущерб принципу самодержавия настаивало упорно на своих неписаных правах ограничивать этот принцип. Царь Николай II, по мнению людей средостения, позволил себе за последний десяток лет слишком много и, пользуясь Распутиным, как предлогом, обрушилось на царскую семью. Высшие круги начали настоящий поход за отстранение Старца от нее. Министры требовали его устранения со Двора. По всей стране поползли самые унизительные, клеветнические слухи, ставшие теперь в руках темных сил тем «реальным основанием», о котором я говорил раньше и на котором эти силы строят теперь свои «веские» слухи для полного разрыва авторитета верховной власти. Высокое средостение между царем и народом дало эти «реальные основания» в руки наших тайных врагов. Вместо того, чтобы без огласки и скандала задержать «мощного» Старца под своим контролем и обдуманным влиянием, средостение с шумом, гамом и скрытыми наветами на саму царицу и даже на царских дочерей толкнуло его в объятия опасного агента темных сил и дало тому этим путем возможность пагубно влиять на судьбу нашей страны. Я утверждаю категорически, и это подтвердят также многие из противников Старца, что царская семья в своих отношениях с Распутиным не допустила совершенно ничего, себя унижающего, и что царь, до появления распутинского секретаря Симановича, оставался в своих важных решениях не зависимым ни от кого.

Отец Алексей качал головой, прислушиваясь к спокойному повествованию Рамсина. Он впервые слышал подобную и вовсе недвусмысленную критику придворных кругов. О негативном влиянии при Дворе так называемого средостения говорилось уже давно, но о великокняжеских разногласиях с царем священник слышал впервые.

— Из ваших слов, многоуважаемый Сергей Николаевич, можно заключить, что князья и бояре и теперь еще плетут вокруг престола свою недостойную крамолу, точно так же, как и в старину. Какое несчастье для России! Кто тут у нас мог предположить нечто подобное? — сказал удрученно священник.

— Эта крамола никогда не прекращалась ни у нас, ни в других странах, остро проявлялась иногда в виде дворцовых переворотов. Наше же средостение постоянно и остро проявляло свою крамолу в тех случаях, когда царь поднимал свой голос в пользу радикальных мер для улучшения жизни широких масс. Примеры Сперанского, а в наше время Столыпина очень наглядны в этом смысле, — заметил Лешнев, обращаясь к священнику.

— Александру I, да и нашему царю, пришлось, очевидно, выдержать жесткое давление и бурю интриг, прежде чем отказаться от помощи или пользоваться ею, таких людей государственной мысли, как Сперанского и Столыпина, — поддержал Лешнева Мураховский.

— С крамолой при Дворе в наше время дело обстоит тем более трагично, что она вообразила себя непогрешимой, в то время как на каждом шагу делала и делает судьбоносные ошибки. Она из всех сил стремится толкнуть Россию в балканскую авантюру, а два года спустя ей удалось толкнуть ее в мировую войну. Фатальность своей роковой ошибки крамольники видят теперь и сами, но вы думаете, что они покаялись? Личность царя должна теперь прикрыть и самих крамольников, и их ошибки. Крамольники на фронт не пошли. Они её включились также и в тыловую помощь фронту. Ни один из них не показал себя ни даровитым офицером генерального штаба, ни выдающимся специалистом в организации тыла в состоянии войны... Наш высший придворный круг устраивает теперь балы, а всю обузу войны, виновником которой был, главным образом, сам, свалил на плечи царя, который не хотел этой войны.

Сибирский крестьянин Распутин был, можно сказать, физическим противником войны. Он думал о ней, как о бремени, как о зле, которое поразит, главным образом, крестьянскую Россию, которая и без того жила в весьма страшных условиях нужды и бедности. Не раз он не преминул напомнить царю в своих беседах с ним о вреде для России слишком интимного политического сближения с Францией.

— При Дворе, да и в столице, в самом начале войны, много толковалось о том, что было бы, если бы Старец в дни перед объявлением Россией войны Австрии находился в столице. Многие склонны были думать в то время, что, будь Распутин в Петрограде, Россия не вступила бы в войну. Другие, как и я в то время, думали, что Старец своим влиянием на царя тоже не мог бы ему помочь, так как на царя и не нужно было влиять в этом смысле. Все знали, что он и царица были всей душой против вступления России в войну, но что в игру давно уже включились тайные интернациональные силы, об этом знали немногие. Знал об этом, думается мне, и царь и недаром старался договориться на этой почве с немецким кайзером. Но об этом можем мы поговорить, если вам угодно, в другой раз. Эта тема — особая и очень занимательная статья, которую можно было бы озаглавить так: «Кто, как и зачем «сделал» первую мировую войну?»

Слушатели громко засмеялись, но Рамсин даже не улыбнулся. Помолчав, он добавил:

— Именно так, господа! Первая мировая война была «сделана» надгосударственными, темными силами, клевреты которых, как я вам рассказал раньше, собирались в десятом году в Копенгагене на конгрессе, где решался вопрос о том, как 2-й Социалистический Рабочий Интернационал должен был национальную войну в монархических государствах превратить в гражданскую. Мировые братья, которых было уже немало на наших верхах, помогали сознательно, а другие — по глупости.

— Это чрезвычайно интересно. Мы просим вас, Сергей Николаевич, поведать нам после также и об этом, — живо сказал Мураховский и, подняв стакан, пригласил всех выпить.

— А где же был Распутин во время объявления Россией войны? — спросил отец Алексей, глядя с любопытством на Рамсина.

— Где был Распутин в то время интересовало многих, а особенно тех, кто боролся за мир. Я писал вам об этом в то время, Андрей Иванович, — сказал Рамсин, глянув на Мураховского. — Я, будучи в то время отечественником, узнал от г. Мураховского о многом, о чем раньше не подозревал, и, конечно, старался влиять при Дворе, там, где мог, в пользу мира. Распутин решил в июне, еще до убийства в Сараеве, навестить свое село Покровское в Сибири. Он уехал туда с двумя своими дочками, не предполагая ничего дурного. В конце июня на улице в Покровском на него было совершено нападение. Он был тяжело ранен ножом в живот и лишь чудом остался живым. Врачи спасли его от верной смерти. Это покушение на жизнь Старца приковало его на долгое время к постели в далеком селе как раз в те недели, когда произошли все те события, которые вызвали мировую войну 1914 года. Покушение на Старца совершила девчонка Гусева, проститутка из Тобольска, бывшая знакомая Старца. Позже стало известно интересное донесение одного из агентов Охранного отделения Цанка, который доложил об этом аресте Гусевой следующее: «Преступница была арестована двумя специально назначенными для этого полицейскими агентами и немедленно отведена ими в дом для сумасшедших, где заранее назначенный для этого врач объявил ее невменяемой. Гусеву, как неизлечимую, по утверждению этого врача, заключили навсегда в этот дом умалишенных». Этим путем Гусева, как важная свидетельница, была сделана немой. Главным инициатором покушения на жизнь Распутина считали монаха Илиодора, который ненавидел Старца и считал его Антихристом. Был ли он один или существовали другие лица, желавшие смерти Распутина именно в это время, когда решался вопрос: быть или не быть мировой войне, доказано не было. Но догадки в том, что такие лица были, появились. Француз Жан Якоби писал позже: «Этот удар ножа пришелся как раз вовремя! Кто была эта Гусева, эта маленькая проститутка из Тобольска, эта невероятная русская Шарлотта Кордэ? Какое тайное влияние должна была иметь ее вооруженная рука против Старца-миротворца как раз в тот момент, когда миру угрожала великая опасность? Об этом никто и никогда не узнал»! *

— Тяжело раненный Распутин был прикован к постели в селе Покровском и отсюда забрасывал царя и царицу письмами и телеграммами, умоляя их о сохранении мира. В Петрограде и особенно при Дворе многие были убеждены, что будь Распутин в эти судьбоносные дни в столице, Россия избежала бы этой войны. Старец, со своим исключительным предубежденнем против всякой войны, применил бы всю свою убедительность и все свое влияние, чтобы укрепить августейшую пару на ее миролюбивой точке зрения. Его письма ** из далекой Сибири влияли тоже, но не настолько, чтобы помочь царю устоять против всеобщего требования объявить войну, а затем и общую мобилизацию. Уже давно воинствующая партия князей под водительством Вел. Кн. Николая Николаевича и сильным влиянием княгинь-черногорок штурмовала царя сверху.

---

* Секретарь Распутина — Симанович утверждал в своей книге, что план покушения на жизнь Старца был известен уже до его отъезда в Покровское. В своей книге он писал. «Но Давидсон (журналист-еврей из Питера) имел сведения о планированном покушении, которое Илиодор готовил против Распутина. Он был журналистом, хотевшим наблюдать покушение Гусевой из непосредственной близости. Он уехал в село Покровское в тот день, как Распутин со своими дочками .. Давидсон мог после, как первый, объявить историю нападения Гусевой на Распутина».

Еврей Давидсон, зная о готовящемся покушении, не предупредил о нем ни жертву, ни власти?! Аарон Симанович же указал в своей книге на тот факт, что темные силы были заинтересованы в гибели Старца именно в это решительное время. Они боялись Распутина-миротворца.

** Старшая дочь Распутина Мария писала позже в своих воспоминаниях: «Я узнала позже, что мой отец за все это время (болезни) непрестанно обменивался с царем и царицей письмами. Обоих умолял он при этом спасти страну от войны, и все же неминуемое должно было случиться. Мой отец написал царю в день объявления мобилизации следующее пророческое письмо:

«Мой друг, я говорю Тебе это еще раз: ужасная буря угрожает России. Катастрофы и беды без конца. Темень. Ни одна звезда не светит больше. Море из слез. И сколько крови!

Что должен я Тебе еще сказать? Я не нахожу больше слов. Ужасы без конца. Я знаю, все хотят от Тебя войны, также и самые верные. Они не видят, что стремятся в пропасть... Ты Царь, отец нашего народа. Не допусти сумасшедших победить и нас вместе с ними увлечь в пропасть! Возможно, что мы победим Германию. Но что же станется с Россией? Когда я думаю об этом, то понимаю, что никогда еще не было более ужасного мошенничества. Россия захлебнется в собственной крови, а страдания и печаль будут несметны.

Григорий»

Генералы убеждали его в подготовленности русских армий к этой войне. Депутаты левых партий разыграли в Думе внушительную сцену непоколебимого единства народа, братались с правыми и писали петиции царю, умоляя его встать на защиту братьев-славян. Что творилось перед дворцом и на улицах Петрограда, трудно представить тому, кто это сам не видел и не пережил. Улица тоже требовала от царя войны. Если наш государь колебался в эти дни между своим урожденным миролюбием и демонстративным шквалом требования войны со всех сторон, то кто из нас посмеет обвинить его в слабости и нерешительности, а теперь в этом нашем всероссийском трауре.

По плану, разработанному на конгрессе в Копенгагене, специалисты всех окрасок бесподобно разыграли роль режиссеров воинствующего настроения народных масс и единодушия общественности в вопросе войны. Они оказались повсюду, на всех ответственных местах в облике ли мировых братьев в правительстве и на верхах, или массы революционных партийцев-агентов на низах, на улице. Первые поражения и неудачи на фронте стали для них сигналом радикально изменить свою тактику и своей подпольной работой, ложными слухами и клеветою сеять недоверие, упадок духа и пораженчество.

Мобилизация была объявлена. И после этого еще царь надеялся, что можно будет избежать войны с Германией. Он позвонил по телефону военному министру и начальнику генерального штаба, требуя приостановить мобилизацию. На их доводы о невозможности этого шага вследствие отданных уже распоряжений о мобилизации государь повторил категорически свое требование. Это требование царя не было исполнено. Его подданные, военные сановники, изменили своему царю в самом начале войны *.

Распутин свыкся со временем с мыслью о войне. Он постоянно подчеркивал, что Россию может спасти только чудо. Серьезность, воцарившаяся при Дворе в начале войны, захватила и его. Царь, как и часто раньше, держался в отношениях к Распутину холодно и отчужденно.

Первые неудачи на фронте, огромные потери убитыми и ранеными и полная неорганизованность медицинско-санитарного дела показали сразу вопиющие недостатки в снабжении, вооружении и обучении войск. Русские армии не были приноровлены к этой войне ни по вооружению, ни по тактике. Это поняли скоро и на верхах, и в широких народных массах. При этом на верхах, исключая царскую семью, люди отнеслись к этому с удивительным равнодушием. Как раз те, кто с таким рвением толкали Россию в войну, скоро показали к ней свое безразличие, жили и вели себя так, как будто эта война их совершенно не касалась. Они не только не показывали охоты давать высокий пример патриотизма и самопожертвования, но, совсем наоборот, ушли в свою личную, эгоистическую жизнь, проводили ночи на балах, устраиваемых без перерыва один за другим. Вопиющая роскошь на верхах и обнищание и горькая нужда на низах принимали опасные формы **. Царская же семья, родители и дети, приняли на свои плечи огромные заботы. Они жили и трудились, радовались и печалились вместе со своим народом, скромно и самопожертвованно.

Рамсин поднялся с кресла и прошелся по залу.

— Я думаю, господа, что мы сегодня закончим на этом. В другой раз поговорим о Распутине и его секретаре дальше, — сказал он. Все поднялись и в живом разговоре о той же войне вышли во двор и медленно направились в парк. Вечерело. На западе, за горизонтом, потухал последний отблеск ушедшего туда солнца, а над ним ярко поблескивала вечерняя звезда.

---

* Бьюкенен, английский посол при русском Дворе и член английской великой ложи, писал об этом торжествующе в своих воспоминаниях: «Не обращая внимания на его (т. е. царя) категорический приказ, военные власти допустили проведение общей мобилизации без его ведома дальше».

** Француз Гоброн в своей книге «Rasputin et L'orgie russe» писал даже о таких вещах: «Великие князья были заняты больше тем, чтобы праздновать в Петрограде и Москве со своими танцовщицами, чем спасать свое Отечество, находившееся в большой нужде».

Окончание следует

ЕЩЕ ОДНА СТРАНИЦА ПРАВДЫ

Недавно в Москве впервые на Родине была издана книга Сергея Павловича Мельгунова «Красный террор в России». Издатели отмечают ее близость с трудом А. И. Солженицына. Обе эти подвижнические работы помогают уяснить страшную цену «красного террора», которым, собственно, и продолжалась «самая бескровная» октябрьская революция.

В книге «Красный террор в России: 1918—1923 годов», впервые изданной в Берлине в 1923 году, С. П. Мельгунов, выдающийся патриот Отечества и ученый историк, подтверждая абсолютную достоверность установившегося жесточайшего тоталитарного строя, довольно часто обращается к «Материалам по деятельности чрезвычайных комиссий». Этот сборник материалов был опубликован в 1922 году в Берлине социалистами-революционерами, вчерашними товарищами пришедших к власти путем военного переворота большевиков.

Редактор «Материалов...» В. Чернов, известный социалист, определяет цель издателей — «раскрыть перед читателем самую темную страницу летописи русской революции.

Мы хотим пролить полный свет на деятельность того учреждения современного режима, которое сосредоточило вокруг себя всеобщую, исключительную ненависть широчайших слоев населения страны, учреждения, работа которого протекает под непроницаемым покровом тайны, и вокруг которого витает столько зловещих легенд и слухов.

Это учреждение — Че-ка — спешат ныне формально ликвидировать, а на деле переименовать в «Политуправления» при Наркомвуделе подобно тому, как когда-то мнимо «ликвидировали» приобретшие ужасавшую всех славу уездные чрезвычайки — чтобы их немедленна воскресить под более удобным псевдонимом «Политбюро». Под собственным именем или под новыми псевдонимами, но Че-ка предстанут перед читающей публикой в полный рост и во всей своей наготе.

Чтобы достигнуть этой цели, мы обратились непосредственно в Россию к людям, недавно вырвавшимся из застенков Че-ка или даже еще находящимся «за решеткой». С величайшими трудностями были написаны и переданы на волю и переправлены к нам все те рукописи, часть которых мы публикуем в этом сборнике».

Все авторы сборника — социалисты, принимавшие активное участие в революционном движении России. Для того, чтобы избежать даже возможности предположения в преувеличении со стороны «врагов» большевиков, редакция уже в предисловии обращается к сторонникам утвердившейся власти — сменовеховцам, их публикациям, партийным документам РКП(б). Все материалы, увы!, говорят одно и то же: «Россия при большевистском режиме стала страной, в которой ничто уже не является невозможным. В том-то и заключается весь ужас ее положения, что, по-видимому, нет и не может быть придумано о ней такой зловещей сказки, которую бы дальнейший ход событий не превратил в такую зловещую быль...».

Издатели «материалов» утверждают, что деятельность ЧК — сплошное оскорбление человечества, т. к. именно эта «краса и слава коммунистической партии» воплощает в себе «кульминационный пункт основной идеи этой партии: возврата к так называемому «просвещенному абсолютизму», «просвещенному деспотизму» в новом коммунистическом издании...».

Мы предлагаем нашим читателям материалы, которые прежде всего касаются кубанской истории, напоминают о муках тысяч краснодарцев, станичников, прошедших все круги ада кубанского ЧК, руководимого Атарбековым. «Кубанская чрезвычайка» Г. Люсьмарина обжигает внешней бесстрастностью повествования о страшных преступлениях, совершаемых хорошо налаженной машиной насилия и смерти.

Лидия ГОЛЕНКО.

Георгий Люсьмарин

КУБАНСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙКА

С Кубанской чрезвычайкой я хорошо знаком по личному опыту. При одном из очередных арестов социалистов, живущих на Кубани, я был арестован и доставлен в участок милиции города Екатеринодара.

Во всех камерах Чеки, рассчитанных приблизительно на 200—240 человек максимум, содержится свыше 500 человек. Люди спят на нарах, под нарами, в проходах. Движение невозможно, приходится или полусидеть, или полулежать, или стоять на ногах. Грязь — классическая. Если с тротуаров около помещения Чеки трудом арестованных ежедневно сметается каждая пылинка и если кабинеты и вообще апартаменты господ чекистов этим же трудом убираются и моются ежедневно, то во дворе и внутри камер, где находятся заключенные, отчаянная грязь, вонь и мерзость запустения.

В течение четырехмесячного моего сидения пол мылся только два раза. Бани не полагается. Случайно один раз за всю зиму были в бане. Все просьбы заключенных сводить в баню — успеха не имели. Само собой разумеется, что все мы в pendant к чистоте помещения обросли на вершок грязью, обовшивели. Вши, блохи, клопы гуляли стадами. А грубое обращение с заключенными чинов караула, услащаемое самой отборной большевистской площадной бранью, вполне соответствовало скотскому положению заключенных. Прогулок не полагалось, если не считать весьма редкие, не периодические, всецело зависящие от каприза караула, 5—10-минутные проверки наличия числа заключенных, происходившие иногда не в камерах, а во дворе. Круглые сутки приходится глотать гнилой спертый воздух, от которого с непривычки или после долгого пребывания на свежем воздухе кружится голова. Да это и понятно: при отчаянном переполнении, при отчаянной грязи физиологические потребности арестованные выполняют круглые сутки в «парашу». Правда, есть выводные караульные, по два человека на камеру, выводящие по два человека «оправиться». Но так как в камере содержится 148—160 человек, то это равносильно издевательству, и большинство прибегает к «параше». В довершение этих бед мы не могли располагать достаточным количеством воды, не только для умывания, но даже для питья. Водопроводный кран или замерзает, или в неделю раз шесть портится от бесхозяйственности, и мы сплошь и рядом сидим не только без чаю, но и без воды, мучимые жаждой. Что касается пищи, то, помимо ее отвратительности (черствый, как камень, хлеб и просяной с кукурузой суп), она раздается в скотских условиях: за неимением посуды пища разносится по камерам в тех самых ведрах, из которых ежедневно моются отхожие места, коридоры и полы присутственных и неприсутственных комнат Чеки. И как бы для полноты ансамбля, разливается и раздается рядом с «парашей», в атмосфере наибольшей вони и наибольшей грязи. Только отчаянный голод побеждает чувство брезгливости и заставляет есть казенную пищу. Как-то раз пища отдавала запахом какого-то лекарства. Объяснилось это просто: ведро, в котором была принесена пища, употреблялось при мытье полов в амбулатории Чеки, в которой делали перевязки больным чекистам, и в ведро попались загноенные, пропитанные лекарствами, сменные перевязки. Отсюда и запах супа.

Каковы условия, в которых находятся заключенные, видно из отзывов сидящих в это время в Чеке эсеров-армавирцев — К. М. Варсонобьева, П. Л. Никифорова, сына известного народника Льва Павловича Никифорова, и других, видавших «виды» при царской власти, в полной мере испытавших прелести царских центральных тюрем, пересылок и этапов. Они в один голос заявляют: «Год заключения в тюрьме при царской власти равен месяцу сидения в Чеке» — по лишениям и издевательствам над заключенными.

Все просьбы, протесты против такого режима, индивидуальные и коллективные, словесные и письменные, положительного результата не давали. Дальше корзины коменданта они не шли.

Заключенные Чеки, несмотря на то, что они являлись подследственными, лишались самых элементарных прав и совершенно теряли свое человеческое достоинство. В особенности это сказывалось на отношениях к женщинам. Ежедневно и в холод, и в грязь их силой заставляли мыть не только великолепные кабинеты судей и администраторов Чеки, но и длинные каменные коридоры всего помещения Чеки, заранее зная, что через пять минут эти коридоры будут такие же грязные, ибо по ним пройдут не сотни, а тысячи ног караула и заключенных. Бедные женщины работали, несмотря ни на какой возраст, в отчаянной стуже, холодной воде, в грязи под сладострастными взорами и насмешками наиболее рьяных чинов караула... В отрицании человеческого достоинства администрация дошла до того, что не постеснялась устроить почти общее отхожее место и для женщин и для мужчин. А на протесты некоторых заключенных мужчин слышались ответы:

— Ничего, не стесняйся, мы баб уже приучили к тому, что они не стесняются.

И в это время женщины, а в особенности девушки, красные вскакивают со своих мест, стыдливо опуская юбки. Что касается Особого отдела, то там в этом отношении пошли еще дальше. Когда водят в баню женщин, то расстанавливают караул не только в раздевальне, но и в самой бане, где женщины моются.

На почве абсолютного бесправия заключенных, их скотского содержания не мог не вырасти пышным букетом самый разнузданный произвол со стороны караула.

Заключенным приносится с воли от

родных или знакомых пища в установленные администрацией дни: понедельник и пятница. Однако пища иногда принимается и в другие дни. Как будто это наводит на мысль об излишней любезности администрации. Но ларчик открывается просто: принесенная пища караульными чинами разворовывается самым бесцеремонным образом. Заключенные получают едва половину принесенного, а иногда удовлетворяются и одной третьей частью, причем все это проделывается на глазах заключенных, без всякого стеснения.

Бесправие заключенных сказывалось решительно во всем. Начальства мы в своей камере никогда не видали, если не считать минутные заглядывания коменданта. Но однажды является сам председатель Чеки Котляренко, с целью проверки наличности заключенных. По наличным спискам вызвали всех. Выяснилось, что здесь сидят уже по два, по три месяца заключенные, нигде не зарегистрированные, не допрошенные, и их пребывание в Чеке обнаружено случайно только впервые с приходом Котляренко.

Все обитатели Чеки по роду преступления делились на четыре неравные группы: спекулянтов — самая небольшая по численности группа, дезертиров — группа, превосходившая численностью спекулянтов, сравнительно большая группа обвинялась в должностных преступлениях и, наконец, самая большая группа — обвинявшихся в контрреволюции.

В большинстве случаев в должностных преступлениях обвинялись начальствующие лица: различные комиссары, начальники милиции, председатели и члены исполкомов, председатели и члены различного рода ударных троек. На плечах всего этого начальства лежали тягчайшие преступления, но все они отделывались весьма легко. За грабежи, взятки и другие художества в Чеке сидел целиком ревком станицы Ладожской в лице председателя Шадурского и секретаря Шарова. Посажены они были распоряжением уполномоченного Майкопской Чеки Сараева. Как-то поздно ночью, когда камера уже дремала, многие спали, щелкнул засов двери и в камеру вошло начальство: кожаная новая с красными звездами «спринцовка» на голове, в лисьей с бобровым воротником шубе, прекрасных галифе — словом, важная птица. Начальство, морща от вонючего спертого воздуха нос, быстрым взором окинуло камеру, заметило еще не успевшую лечь фигуру секретаря Ладожского ревкома Шарова и быстро повернуло назад к двери. Однако последняя оказалась уже запертой, а в прозурку ясно послышался грубый голос часового: «Сиди, завтра заявки сделаешь. Теперича нет коменданта».

Для камеры стало ясно, что начальство само очутилось на положении арестанта. Арестанты начали вставать, с любопытством посматривая на вошедшего, как вдруг тишину прорезал громкий голос Шарова: «Товарищи, это уполномоченный Чеки, — указывая на начальство, кричал Шаров. — Это он нас с Шадурским арестовал. Шуба на нем не его, а моя. Он ее отобрал у меня как вещественное доказательство, а сам, вот видите, носит. Отдай, это моя шуба», — злобно и вместе с тем радостно обратился он к Сараеву. Окруженный со всех сторон, силясь улыбнуться, хотя кроме жалкого искривления побледневших губ ничего не выходило, Сараев что-то бессвязно говорил. Моментально собрался импровизированный суд, и шуба торжественно была снята с плеч Сараева и не менее торжественно надета на плечи Шарова.

Однако пытливая мысль на этом не остановилась. Для каждого ясно было, что шуба, стоящая по довоенным ценам 600—700 рублей, вряд ли могла принадлежать Шарову, до этого рассказывающего о своем трудовом прошлом. Впоследствии выяснилось, что и Шарову шуба досталась так же легко, как и Сараеву. Будучи начальником какого-то карательного отряда, Шаров запасся весьма ценным имуществом, в том числе и шубой.

Сараев и ладожское начальство не составляли исключения среди арестованных. Вместе с ними сидело начальство из Майкопа — члены революционной тройки — Нестеров, Бахарев и Рыбалкин. Все это начальство — коммунисты, к нам, простым смертным, относились свысока, жили в камере обособленно, варились в собственном соку, а так как этот сок был — копание в своем революционном прошлом, то это революционное прошлое предстало перед нами во всей своей неприглядной наготе. Оказывается, что уполномоченный Чеки Сараев обвиняется в изнасиловании. Этот маленький станичный царек, в руках которого была власть над жизнью и смертью населения, который совершенно безнаказанно производил конфискации, реквизиции и расстрелы граждан, был пресыщен прелестями жизни и находил удовольствие в удовлетворении своей похоти. Не было женщины, интересной по своей внешности, попавшей случайно на глаза Сараеву, и не изнасилованной им. Методы насилия весьма просты и примитивны по своей дикости и жестокости. Арестовываются ближайшие родственники намеченной жертвы — брат, муж или отец, а иногда и все вместе и приговариваются к расстрелу. Само собой разумеется, начинаются хлопоты, обивание порогов «сильных мира». Этим ловко пользуется Сараев, делая гнусное предложение в ультимативной форме: или отдаться ему за свободу близкого человека, или последний будет расстрелян. В борьбе между смертью близкого и собственным падением в большинстве случаев жертва выбирает по-

следнее. Если Сараеву женщина особенно понравилась, то он «дело» затягивает, заставляя жертву удовлетворить его похоть и в следующую ночь и т. д. И все это проходило безнаказанно в среде терроризированного населения, лишенного самых элементарных прав защиты своих интересов. И если Сараев в конце концов попал в Чеку, то, во-первых, через полтора месяца сидения он был освобожден и вновь занял прежнее место в Екатеринодаре, а, во-вторых, его выдала простая случайность. Намеченная им жертва была женой начальника районной милиции и поэтому последний имел смелость жаловаться, да и самая «обстановка» дела сложилась для Сараева крайне неудачно. Дело происходило так. Во время «решительного объяснения» намеченная Сараевым жертва упала в обморок. Шум от падения на пол тела привлек бывших в соседней комнате посторонних лиц. Сараев, отучившись от всякой осторожности и забыв запереть дверь, поспешил воспользоваться удобным случаем — отсутствием сопротивления — и был застигнут на месте преступления.

Однако в этом занятии не он только один оказался повинен. Абсолютное бесправие граждан и вместе с тем трудовая повинность, точно тучный чернозем, порождали такого рода садистов. В одной из станиц председателю революционного комитета Косолапому понравилась местная учительница народной школы. Издается приказ о назначении ее в порядке трудовой повинности на должность секретарши исполнительного комитета. Все доводы учительницы за оставление ее в школе ни к чему не привели. Ей было заявлено, что за несоблюдение трудовой дисциплины она будет сослана на пять лет в концентрационный лагерь, как явная контрреволюционерка и саботажница советской власти. Пришлось подчиниться. Это было бы полбеды. Но беда заключалась в том, что вскоре начальство стало приказывать новой секретарше приносить ему вечерами на дом деловые бумаги, где с присущей начальству грубостью и прямолинейностью начало делать ей гнусные предложения, перешедшие впоследствии в явные попытки изнасилования. Кончилось это исчезновением новой секретарши из станицы. Немедленно во все концы полетели срочные телеграммы дословно следующего содержания.

«Скрылась явная контрреволюционерка и саботажница советской власти К. Просьба все места учреждения и начальства таковую задержать, арестовать и направить этапным порядком распоряжение исполкома.

Предисполкома Косолапый».

Несчастная была задержана в Екатеринодаре, приведена в милицию для отправления по назначению. Но, к счастью для нее, там оказался знакомый начальник милиции, культурный человек, бывший присяжный поверенный, не большевик. И дело приняло иной оборот. К. была отпущена, по поводу действий Косолапого было начато следствие... вскоре прекращенное.

В станице Пашковской председателю исполкома понравилась жена одного казака, бывшего офицера Н. Начались притеснения последнего. Сначала начальство реквизировало половину жилого помещения Н., поселившись в нем само. Однако близкое соседство не расположило сердца красавицы к начальству. Тогда принимаются меры к устранению помехи — мужа, и последний, как бывший офицер, значит контрреволюционер, отправляется в тюрьму, где расстреливается.

Факты эротического характера можно приводить без конца. Все они шаблонны и все свидетельствуют об одном — бесправии населения и полном, совершенно безответственном произволе большевистских властей.

Немало должностных преступлений совершено на почве личного обогащения.

Само собой разумеется, что в условиях полной безответственности агентов Чеки процветает колоссальное взяточничество. Сплошь и рядом людей гноят в тюрьмах с единственной целью получить приличную мзду с состоятельных близких родственников или самих заключенных. В этих целях небезынтересна судьба гражданина Л. Слывший за состоятельного человека, Л. неоднократно подвергался аресту. Ему предъявлялись заведомо вздорные обвинения, и в конце концов дело кончалось двумя-тремястами тысяч рублей, а с падением курса рубля требование взяток повышалось до миллионов рублей. С уплатой «дани» Л. освобождался, чтобы через месяц или два-три снова сесть.

Гражданин П. за спекуляцию подлежал высылке в Екатеринбургскую губернию на принудительные работы. Жена П. начала умолять следователя-чекиста освободить мужа. Следователь согласился при условии уплаты ему 300 тысяч рублей. Деньги были полностью уплачены. Но по какой-то случайности П. все-таки был выслан. Тогда жена бросилась к следователю, требуя возврата данных 300 тысяч рублей.

— Напрасно волнуетесь, товарищ,— спокойно заявило начальство,— дело вполне поправимо: давайте еще 700 тысяч рублей, я знаю, деньги у вас есть, и муж ваш будет возвращен.

— А где же гарантия, что вы, взяв 700 тысяч рублей, вернете мужа? — с недоверием спросила женщина.

— Вы гарантии хотите? Извольте. Деньги я с вас вперед не возьму, сначала вытребую назад мужа, тогда вы мне их и отдадите. Но знайте, если деньги вы мне

не принесете, муж ваш будет расстрелян. Сделка состоялась, а таких сделок весьма много. За взятки оказались освобожденными граждане В., М-с., П. и другие.

Четвертая группа заключенных: контрреволюционеры. Эта группа самая большая, ее преступления самые разновидные, а наказания за них самые жестокие. Здесь — люди, начиная с детского возраста, кончая древними старцами. По обвинению в попытке взорвать Екатеринодарскую Чеку сидел 12-летний мальчик Воронов; стольких же лет, если не меньше, сидел мальчик Кляцкин, ученик 3-го класса бывшего реального училища Шкитина в Ростове. Вместе с ним был посажен, как контрреволюционер, 97-летний глухой и слепой старик. И так как он не в состоянии был доходить до «параши» и физиологические потребности отправлял под себя, то по настойчивой просьбе всей камеры этот опасный для власти человек был на другой день после ареста из Чеки отправлен в больницу, откуда, кажется, вскоре освобожден.

Как легко создаются обвинения в контрреволюционности и какова степень наказания, хорошо свидетельствует следующий факт.

Ночью, часов в 12, в камеру привели молодого человека восточного типа, щегольски одетого, с шаферским цветком на груди и без фуражки. Оказывается, привели прямо со свадебного бала. Молодой человек этот, Авдишев, занимающийся с отцом чисткой сапог на улицах Екатеринодара, мирно жил в содружестве с двумя товарищами, служившими агентами Чеки. Молодые люди, как соседи, постоянно бывали друг у друга, проводили вместе досуг, и, казалось, ничто не говорило о трагедии. Один из товарищей, чекистов, Кожемяка, выдает замуж свою сестру и приглашает в качестве шафера Авдишева. Как и водится на свадьбе, подвыпили, водка и коньяк развязали языки, прибавили смелости, которая Авдишеву позволила весьма неосторожно поцеловать жену Кожемяки. Взбешенный чувством ревности супруг хватает за шиворот своего товарища и собственноручно, прямо с бала доставляет в Чеку. Сначала это дело вызывало улыбки среди арестованных, не исключая и самого Авдишева. Но с первого же допроса Авдишев вернулся в самом удрученном настроении, объявив в камере, что его обвиняют, во-первых, что он бывший офицер, а во-вторых, что он был агентом контрразведки Деникина. Обвинение в офицерском звании отпало само собой, ибо следователь, при всей его неопытности, все же не мог допустить, чтобы не могущий связать пару слов Авдишев, к тому же занимающийся чисткой сапог, был офицер. Однако обвинение в службе в контрразведке Деникина вполне подтверждалось свидетелем — чекистом Кожемякой. Как ни старался Авдишев доказать свою невиновность, как ни пытался он выяснить истинную подкладку обвинения — ничего не помогало, и Авдишев был расстрелян.

Сплошь и рядом люди садятся в Чеку и приговариваются к тягчайшим наказаниям не за преступные деяния, а просто за их социальное положение или просто потому лишь, что имеют несчастье навлечь на себя гнев какого-либо большевика. Так, гражданин Сатисвили имел неосторожность обругать своего комнатного жильца-коммуниста. И только за эту «контрреволюционность» был сослан на два года в шахты на принудительные работы. Табельщик одного из заводов Екатеринодара Архипкин поссорился с большевиком рабочим и за это пошел на пятилетние принудительные работы в Екатеринбург. А так как за него вступились другие рабочие завода и наказать его только за ссору с большевиком было неудобно, его обвинили в том, что в момент прихода белых в Екатеринодар, полтора года тому назад, Архипкин имел на рукаве белую повязку. Как ни доказывал последний, что повязку носил не он один, а все дружинники по охране города от грабежей в момент смены власти, и что белые повязки, как и сама организация дружины, были разрешены отступавшими из Екатеринодара большевиками, доводы его оставались гласом вопиющего в пустыне.

Бывший ейский городской голова Глазенко, избранный на эту должность в 1917 году по закону Временного правительства на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, сидел полтора месяца в Чеке и в Ейске, и в Екатеринодаре лишь за то, что он был избран городским головой «по контрреволюционному» закону буржуазной власти. Наряду с этим бывшие городские головы дореволюционной эпохи гуляли на свободе, а некоторые в содружестве с чекистами «прибыльно» спекулировали.

В момент высадки Врангелем десанта на Таманский полуостров на Кубани циркулировали слухи, что часть десанта была высажена около Анапы. Об этом сами же большевики писали в газетах, наконец, все говорили. В частной беседе в виде вопроса об этом же спросил председателя революционного комитета станицы Пашковской диакон этой станицы Лукин. Однако, спустя три месяца после ликвидации десанта, когда о нем уже забыли, Лукин был арестован и за разглашение председателю революционного комитета станицы Пашковской ложных «слухов об анапском десанте» был посажен в камеру смертников, а затем выслан на пять лет на принудительные тяжелые работы в Пермскую губернию.

Большинство обвиняемых в контрреволюции расстреливается. Амнистии их не касаются. После амнистии в память трехлетия годовщины Октябрьской революции в Екатеринодарской Чеке и Особом отделе обычным чередом шли на расстрел и это не помешало казенным большевистским публицистам в местной газете «Красное Знамя» помещать ряд передовых и непередовых статей, в которых цинично лгалось о милосердии и гуманности Советской власти, издавшей амнистию и будто бы широко ее применявшей ко всем своим врагам.

С августа месяца 1920 года по февраль 1921 года только в одной екатеринодарской тюрьме расстреляно было около 3 тысяч человек. Наибольший процент расстрелов падает на август месяц, когда был высажен на Кубань врангелевский десант. В этот момент председатель Чеки отдал приказ: «расстрелять камеры Чеки». На возражение одного из чекистов, Косолапова, что в заключении сидит много недопрошенных и из них многие задержаны случайно, за нарушение обязательного постановления, воспрещающего ходить по городу позже восьми часов вечера,— последовал ответ: «Отберите этих, остальных пустите всех в расход».

Приказ был в точности выполнен. Жуткую картину его выполнения рисует уцелевший от расстрела гражданин Ракитянский.

«Арестованных из камер выводили десятками», — говорит Ракитянский.— «Когда взяли первый десяток и говорили нам, что их берут на допрос, мы были спокойны. Но уже при выводе второго десятка обнаружилось, что берут на расстрел. Убивали так, как убивают на бойнях скот». Так как с приготовлением эвакуации дела Чеки были упакованы и расстрелы производились без всяких формальностей, то Ракитянскому удалось спастись. Вызываемых на убой спрашивали, в чем они обвиняются, и ввиду того, что задержанных случайно за появление на улицах Екатеринодара после установленных 8 часов вечера отделяли от всех остальных, Ракитянский, обвинявшийся, как офицер, заявил себя тоже задержанным случайно поздно на улице и уцелел. Расстрелом занимались почти все чекисты с председателем чрезвычайки во главе. В тюрьме расстреливал Атарбеков *, самый свирепый палач из палачей на Кубани, уполномоченный Всероссийской Чеки Кавфронта, на совести которого не одна тысяча жертв в застенках Чеки и Особого отдела. Расстрелы продолжались целые сутки, нагоняя ужас на жителей прилегающих к тюрьме окрестностей. Всего расстреляно около 2000 человек за этот день.

Как же производится сам суд, если так свободно применяется смертная казнь? Самым упрощенным способом и в большинстве случаев самыми невежественными людьми. Происходит допрос. Вас допрашивает следователь, обычно подросток или девица. При допросе употребляются все средства, чтобы или получить от вас чистосердечное признание в виновности, или путем самых сбивчивых вопросов со ссылкой на несуществующие показания свидетелей, будто бы допрошенных уже и подтвердивших вашу виновность, стараются вызвать противоречие в показаниях обвиняемого. Твердо установлены два положения, кои проводятся в жизнь неукоснительно: это, во-первых, полная изоляция от остального мира, следовательно, полная невозможность доказать свою правоту, и, во-вторых, чекистские следователи при производстве следствия исходят из положения: раз ты арестован, значит, ты виновен и обязан доказать свою невиновность. Однако доказательство это абсолютно невозможно: ссылка на свидетелей, не принадлежащих к партии большевиков, да еще если имеющих несчастье принадлежать к интеллигенции, во внимание не принимается и в худшем случае может послужить вполне достаточной уликой для обвинения в контрреволюции самих свидетелей; ссылка же на свидетелей из рядов коммунистов не всегда доступна. И в сущности весь разбор дела ограничивается допросом вас следователем. Последний по следствию дает свое заключение, скорее формально, а не по существу, которое рассматривается уполномоченным чрезвычайной комиссии и затем коллегией Чеки, которая и ставит свой штемпель: «расстрелять» или «сослать на пять или десять лет на принудительные работы», в зависимости от данного следователем заключения. Вот, в сущности, весь багаж правосудия.

Нужно ли говорить, что такая упрощенная форма суда в условиях всеобщего бесправия и террора в стране создает безбрежные границы самого безудержного произвола. Застенки Чеки напоминают средневековье по своей дикости, жестокости и глумлению над человеческой лич-

* Исповедуя плюрализм, сошлюсь на характеристику, данную энциклопедией «Гражданская война и военная интервенция в СССР»:

«Атарбеков Георгий Александрович (1892—1925) — советский и партийный работник. Член Коммунистической партии с 1908 года. Из мещан. Учился в Московском университете (1910—1911). В 1917—1918-ом член Сухумского подпольного комитета партии и ВРК (апрель-май), заместитель председателя ЧК Северного Кавказа, начальник особого Каспийско-Кавказского фронта. В 1919-м председатель Астраханской ЧК, начальник Особого отдела 11-й Армии, председатель ревтрибунала Южного фронта. С осени 1919-го начальник подразделения Особого отдела ВЧК в Москве, вместе с С. А. Тер-Петросяном (Камо) руководил чекистскими операциями в тылу конного корпуса генерала Мамонтова. В 1920-м начальник Особого отдела 9-й Армии, полномочный представитель ВЧК на Северном Кавказе, проводил операцию по уничтожению агентуры Деникина на Кубани, полномочный представитель ВЧК в Азербайджане и Армении».

Одна из магистральных улиц Краснодара носит имя Георгия Атарбекова.— *Л. Г.*

ностью. Пытки, взятки деньгами и натурой в Чеке расцвели махровым букетом. Причем пытки совершаются путем физического и психического воздействия. В Екатеринодаре пытки производятся следующим образом: жертва растягивается на полу застенка. Двое дюжих чекистов тянут за голову, двое за плечи, растягивая таким путем мускулы шеи, по которой в это время пятый чекист бьет тупым железным орудием, чаще всего рукояткой нагана или браунинга. Шея вздувается, изо рта и носа идет кровь. Жертва терпит невероятное страдание. При этом нужно оговориться, что пытке подвергаются лишь более важные «контрреволюционеры», замешанные в какой-либо опасной организации, которую чекисты стремятся раскрыть. Такой пытки в Екатеринодарской Чеке подвергся офицер Терехов, кстати сказать, уже психически больной, ибо во время пытки он лишь смеялся, чем привел в ярость палачей; затем гражданин Аксютин, впоследствии расстрелянный, гражданин Потоля, обвинявшийся в убийстве и приговоренный на 8 лет принудительных работ. Причем с пыткой Потоли произошел любопытный казус: Потоля — коммунист. Когда истязали некоммунистов, то сидевшие в камере коммунисты, о которых мы говорили выше: Нестеров, Шадурский, Шаров, Сараев и др.— оставались безучастными и ничем на это не реагировали. Но достаточно было подвергнуть пытке коммуниста Потолю, как поднялась буря негодования и обвинения чекистов в возврате к старому режиму, в продажности буржуазии и т. п. Тотчас в камере состоялось совещание всех сидевших коммунистов, начался стук в двери и вызов председателя Чеки Котляренко. В камеру явился комендант и прочие власти Чеки в целях успокоения расходившихся товарищей по партии. И нужно сознаться, эта демонстрация имела свои последствия: истязуемых не стали сажать в общие камеры, а только в одиночки.

Так, в одиночке тюрьмы истязали учительницу Домбровскую, вина которой заключалась в том, что у нее при обыске нашли чемодан с офицерскими вещами, оставленный случайно приезжавшим еще при Деникине ее родственником, офицером. В этой вине Домбровская чистосердечно призналась, но чекисты имели донос о сокрытии Домбровской золотых вещей, полученных ею от родственника, какого-то генерала. Этого было достаточно, чтобы подвергнуть ее пытке. Предварительно она была изнасилована и над нею глумились. Изнасилование происходило по старшинству чина. Первым насиловал чекист Фридман, затем остальные. После этого подвергли пытке, допытываясь от нее признания, где спрятано золото. Сначала голой надрезали ножом тело, затем железными щипцами, плоскозубцами отдавливали конечности пальцев. Терпя невероятные муки, обливаясь кровью, несчастная указала какое-то место в сарае дома № 28 по Медведевской улице, где она жила. В 9 часов вечера 6 ноября она была расстреляна, а часом позже в эту же ночь в указанном ею доме производился чекистами тщательный обыск, и, кажется, действительно нашли золотой браслет и несколько золотых колец.

В станице Кавказской при пытке пользуются железной перчаткой. Это массивный кусок железа, надеваемый на правую руку, со вставленными в него мелкими гвоздями. При ударе, кроме сильнейшей боли от массива железа, жертва терпит невероятные мучения от неглубоких ран, оставляемых в теле гвоздями и скоро покрывающихся гноем. Такой пытке, в числе прочих, подвергся гражданин Ион Ефремович Лелявин, от которого чекисты выпытывали будто бы золотые николаевские деньги. В Армавире при пытке употребляется венчик. Это простой ременный пояс с гайкой и винтом на концах. Ремнем перепоясывается лобная и затылочная часть головы, гайка и винт завинчиваются, ремень сдавливает голову, причиняя ужасные физические страдания.

Наряду с пытками физическими производятся пытки психические.

Теперь спрашивается, каков же должен был в этой атмосфере выработаться нравственный и психический тип вершителя судеб русского обывателя — чекиста? На этот вопрос ответом служат факты. В Екатеринодаре в одно время оперировала шайка грабителей, которую в конце концов милиции удалось проследить. Был оцеплен дом, где грабители имели притон. Последние оказали вооруженное сопротивление, во время которого один из грабителей был ранен. Впоследствии оказалось, что притоном этой компании служила квартира следователя Чеки Климова.

Всех агентов Чеки, маленьких и больших, можно сгруппировать следующим образом: одна часть, весьма невежественная, является идейно-коммунистической. В каждом интеллигенте, в каждом человеке из буржуазной среды она видит контрреволюционера, с которым необходимо бороться, и метод борьбы один — физическое уничтожение. Таков закон революции — а посему расстреливай. Вторая часть — совершенно беспринципная, близкая к отбросам интеллигенции. Ее идеал — жить для того, чтобы есть. Сегодня большевики — она служит большевикам, завтра — другие, она служит им...

Чека — вот тот фундамент, та опора, на которую опирается большевистская власть. В ней заложены начала гнилости всего механизма этой власти. Чека — это государство в государстве.

Публикация на страницах альманаха «Кубань» в 1989—1990 гг. работы Р. Шафаревича «Русофобия» и глав из исследования Д. Рида «Спор о Сионе» вызвали обильную читательскую почту. Пристрастие читателей к этой теме подхлестывается заявлениями бывшего члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС по идеологии, бывшего члена Президентского совета А. Н. Яковлева о том, что сионизм — это не форма расизма, как указывается в известной резолюции ООН, а религиозное течение. Особое беспокойство авторов многих писем в редакцию вызывает создание в СССР сионистской организации «Иргун Циони» («Союз сионистов») и сионистской федерации СССР, Союза еврейской молодежи «Бейтар», действующего в рамках идеологии Союза сионистов и других, широковещательные заявления их лидеров со страниц официально предоставляемых для этого изданий («Огонек», «Еврейская газета» и др.) во всесоюзных теле- и радиопрограммах.

Читатели резонно ставят вопрос о продолжении публикаций, раскрывающих историческую сущность сионизма. В связи с этим редакция считает возможным познакомить их с «Сионскими протоколами», широко известными за границей и пока еще не опубликованными в СССР. Иногда эти «Протоколы» называют «фальшивкой века», поскольку сионисты не имеют якобы к ним никакого отношения, а само сочинение создано для того, чтобы скомпрометировать сионизм.

Не разделяя идеологии «Протоколов» и вполне допуская мысль о том, что сионисты их не писали, редакция, тем не менее, считает своим долгом опубликовать это сочинение, чтобы читатели могли сами сделать для себя выводы и не попадаться на «наживу» тех, кто привык ловить рыбу в мутной воде, толкуя неведомые оппонентам тексты по-своему.

СИОНСКИЕ ПРОТОКОЛЫ

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

I. — Еврейская нетерпимость.

«Каждый, кто... попробует заняться еврейским вопросом, должен быть готов выслушать упрек в антисемитизме или получить презрительную кличку «погромщика».

«Всякий писатель, издатель или человек, проявляющий интерес к еврейскому вопросу, почитается жидоненавистником. Это считается единственно допустимым объяснением гласного обсуждения еврейского вопроса. По-видимому, это сделалось всеобщей idee fixe; у евреев эта идея наследственна».

«Непрекращающаяся пропаганда стремится внушить всем неевреям ту мысль, что всякое сочинение, в котором отсутствует слащавое отношение ко всему еврейскому, основано на предрассудке и ненависти: поэтому-де оно всецело полно лжи, оскорблений, ругательств и науськивает на погромы. Эти выражения можно найти в любой еврейской статье, взятой наугад».

Такие наблюдения сделал и к такому выводу пришел на склоне жизни известный миллиардер Генри Форд в своей книге «Международное еврейство» (стр. 53—54).

Та же нетерпимость, то же общественное насилие над свободой мнения наблюдаются во всех странах мира, наблюдались и у нас, в России, — доброго, старого времени. Вы можете исследовать любой вопрос истории и обсуждать качества и деятельность любого народа. Будьте германофобом, русофобом, ксенофобом, кем угодно, — никто не подумает предавать вас общественному осуждению, тем более карать или мстить вам.

Но горе тому, кто дерзнет критически коснуться еврейства.

Этот «избранный народ» присвоил себе право неприкосновенности и полной безответственности, он оградил себя своеобразным «табу» и под страхом наказания запретил всему цивилизованному человечеству подходить к своей священной особе не иначе, как с повинным славословием. Непостижимо как, но цивилизованное человечество рабски подчинилось этому неслыханному запрету свободы рассуждения об еврействе.

Лишь отдельные смельчаки по временам нарушают этот запрет и дерзают говорить правду об еврейских замыслах и еврейских деяниях.

Всех таких разоблачителей правды по-

слушная еврейству печать тотчас же отлучает от «цивилизованной общественности» и объявляет «черносотенцами и погромщиками».

II. — Причины антисемитизма.

В апреле 1917 года мне случилось ехать на юг в одном вагоне с пресловутым князем Урусовым, бывшим кишиневским губернатором, автором нашумевшей книги «Записки губернатора», в коей он доказывал участие администрации и полиции в устройстве еврейских погромов, в частности, кишиневского.

После революции этот князь Урусов, конечно, возвысился, — он был назначен Товарищем министра внутренних дел и ехал на юг в качестве властного ревизора революционного правительства. Из дальнейших расспросов с изумлением узнал я, что почтенный князь спешит с ревизией потому, что на юге разразился ряд еврейских погромов.

— Как, — воскликнул я, — еврейские погромы?! Кто же устраивает эти погромы, когда ни царя, ни царских министров, ни губернаторов, ни полиции, ни «Союза Русского Народа» нет и в помине? Разве возможны еврейские погромы после революции — при демократической, республиканской власти, в составе которой так много евреев? — спросил я не без иронии.

Вместо ответа князь-революционер только улыбнулся.

Для князя Урусова как тогда, при беседе со мною, так и при составлении им его клеветнической и подлой книги было ясно, что еврейские погромы никто не устраивает, а вызываются они характером и поведением самих евреев.

Ведь еврейские погромы происходили и происходят на протяжении всей истории человечества — среди всех народов, и при всяком государственном строе. У нас, в России, погромы происходили и при киевских удельных князьях, и при вольницах казацких, и при императорах всероссийских, и при эсэровской петлюровщине, и при социал-демократической власти большевиков.

Ученый историк Соломон Лурье издал в 1923 году в большевистском издательстве Гржебина на большевистской орфографии книгу «Антисемитизм в древнем мире». В этой — необычно для еврея объективной — книге автор пишет (стр. 9):

«Как я уже сказал, я определенно примыкаю к той группе ученых, которые, исходя хотя бы из одного того, что везде, где только ни появляются евреи, вспыхивает и антисемитизм, делают вывод, что антисемитизм возник не вследствие каких-либо временных или случайных причин, а вследствие тех или иных свойств, постоянно сприсущствующих еврейскому народу. Поэтому необходимо отвергнуть объяснение антисемитизма случайными экономическими, религиозными или политическими конъюнктурами».

И далее (стр. 11):

«Постоянной причиной, вызывавшей антисемитизм, по нашему мнению, была та особенность еврейского народа, вследствие которой он, не имея ни своей территории, ни своего языка и будучи разбросанным по всему миру, тем не менее (принимая живейшее участие в жизни новой родины и отнюдь ни от кого не обособляясь), оставался национально-государственным организмом».

В еврейском вопросе Соломону Лурье и книги в руки. Мне остается всецело присоединиться к бесспорно доказанному и верно обоснованному утверждению еврейского ученого: причины антисемитизма в том, что среди каждого народа еврейство строит свое особое, еврейское государство.

И как совокупность отдельно разбросанных фортов составляет единую мощную крепость, так совокупность отдельно по разным странам разбросанных еврейских «национально-государственных организмов» составляет единое всемирно-еврейское государство.

III. — Мессианство еврейства.

В названной книге Генри Форда (стр. 19—20) сказано:

«Есть «сверхправительство», которое не находится в союзе ни с одним из существующих правительств и от всех их независимо, но чья рука тяготеет над ними всеми».

«Существует раса, часть человечества, кому при появлении ее никто нигогда не сказал «добро пожаловать», но кому, несмотря на это, удалось возвыситься до такого могущества, о котором не мечтала ни одна из самых гордых рас, — даже Рим во времена наивысшего расцвета своей власти».

Эта раса — раса еврейская. До современного могущества и сверхнародной силы еврейство дошло не случайно, а систематично, упорно и беспрерывно, в течение тысяч лет осуществляя свой древний религиозно-национальный идеал.

Идеал этот — мессианство, царство мира сего, владычество еврейства над всем миром.

Современное цивилизованное человечество пребывает в поразительном невежестве о громадности вековых достижений еврейства в его непрерывном следовании по пути мирового владычества.

С детских лет, со школьной скамьи в наши головы вбиты ложные представления и грубо преувеличенные сведения о средневековых гонениях на евреев, о бедствиях еврейских гетто, об ужасах инквизиции.

В действительности, христианская эра, включая и средние века, была эрой последовательного и прогрессивного размножения, роста и усиления еврейского могущества. Уже во 2-м веке силы еврейской организации были так велики, что восстание их в 115 году было подавлено римлянами только после трехлетней войны, а сами восставшие, по свидетельству Диона Кассия, успели перебить в Египте и Киренаике более 200 тысяч христиан и язычников, а на Кипре замучить и перерезать около 240 тысяч киприотов — по большей части христиан.

Во время восстания евреев 134 года воцарившийся над ними Мессия Баркохеба (сын звезды) собрал против Рима армию в 200 тысяч воинов и был побежден лишь после упорной двухлетней войны.

В течение средних веков могущество евреев все ширилось. По свидетельству еврейского историка Греца («История Евреев», том 1, стр. 231—234), в IX веке во Франции в угоду евреям базары были перенесены с субботы на воскресенье, евреи были избавлены от телесного наказания и пыток, враждебные евреям канонические законы были молча лишены силы; вследствие благосклонности двора к евреям многие христиане из простонародья склонились к еврейству...

По Грецу (стр. 70 и 102), к концу XI века засилие евреев уже простиралось почти на всю Европу. В Богемии, Моравии, Польше и Германии евреи владели несметными богатствами и христианскими рабами.

По тому же свидетельству (стр. 172 и 173), «половина города Парижа (в XII веке) принадлежала евреям. Они занимали многие государственные должности».

«К XII веку, — пишет аббат Charles (Solution de la question juive, стр. 44), — евреям окончательно удалось завладеть Провансом, Гвиенной и Лангедоком, где они основали тайные общества и посредством альбигойского масонства совратили многих христиан. Затем, путем обмана местных государей и вельмож, они захватили общественные должности, организовали социализм, словом, по свидетельству масона Мишеле, обратили страну «в Иудею».

По описанию историка Michelet (Histoire de France, том II, стр. 404, 409, 472), «южное дворянство состояло из детей евреев или сарацинов и резко отличалось от, правда, невежественного, но благочестивого и благородного рыцарства на севере. Эти «южные дворяне» предавали пыткам священников и крестьян, переодевались в священнические рясы, били клириков и заставляли их ради забавы петь обедню. Также забавлялись они, пачкая и разбивая изображения Христа... Эта французская Иудея (так современники прозвали Лангедок) походила в действительности на настоящую Иудею не только своими маслинами и оливками: у нее были свои Содом и Гоморра».

В Англии Кромвель и его последователи, по словам Греца («История Евреев», том IV, стр. 85), совершенно не признавали Нового Завета и следовали только предписаниям Ветхого Завета, являясь в то же время «восторженными поклонниками избранного племени».

«Не доставало, — говорит Грец, — только того, чтобы парламентские ораторы произносили свои речи по-еврейски, до такой степени все напоминало в Англии Иудею... Многие республиканцы прямо выражали желание, чтобы государственные законы признавали Тору нормой для Англии («История Евреев», том IV, стр. 86).

Обозревая историю еврейских захватов, знаменитый философ 19-го века Фихте писал («История Евреев», том V, стр. 207): «Почти во всех странах Европы распространено могущественное, враждебно настроенное государство, ведущее постоянную войну со всеми остальными и в некоторых местах особенно тяжело гнетущее граждан. — это еврейство».

Еврейский историк Соломон Лурье со своей стороны подтверждает («Антисемитизм в древнем мире», стр. 208).

«Не менее обычен в древней литературе взгляд, по которому всемирное еврейство представляет собою, несмотря на свою скромную внешность, страшный «всесильный кагал», стремящийся к искоренению всего мира и фактически уже захвативший его в свои цепкие щупальцы. Впервые такой взгляд мы находим в I веке до Р. Х. у известного географа и историка Страбона (51): «Еврейское племя сумело уже проникнуть во все государства, и нелегко найти такое место во вселенной, которое это племя не заняло бы и *не подчинило бы своей власти*».

Таким образом, римский ученый Страбон до Рождества Христова писал об евреях то же самое, что германский ученый Фихте подтверждал о них спустя две тысячи лет.

Еврейский же ученый С. Лурье (стр. 208) дал этому поразительному по устойчивости историческому явлению мессианства свое философское обоснование:

«Ввиду того, что религиозно-нравственные воззрения древних евреев были не онтономическими, а филономическими, т. е. объектом нравственных обязанностей был не отдельный человек, а весь народ, то *для еврейской теодицеи не было нужды ни в бессмертии души, так как народ, как целое, и без того бессмертен, ни в загробной жизни на небесах, так как царство справедливости может наступить когда-нибудь и на земле. Поэтому последним словом еврейской религиозной нравственной пропаганды было мессианство»*. **(Курсив наш).**

Не имея нужды ни в бессмертии души, ни в загробной жизни, еврейский народ отверг Царство Небесное и все силы своего духа и ума направил на осуществление всемирного мессианства, т. е. на осуществление всемирного Царства Земного. В этом стремлении к воцарению Мессии над миром еврейство, естественно, встречало и поныне встречает сильнейшее сопротивление всего человечества. Отсюда проистекает вековечная война еврейского мессианства со всеми народами мира. Отсюда и война еврейского Интернационала с нациями.

IV. — Сионские Протоколы.

Ф. М. Достоевский в своем «Дневнике писателя» (1877 года, март, Гл. 2, стр. 93—95) писал про евреев:

«Не вникая в суть и глубину предмета, можно изобразить хотя бы некоторые признаки этого «государства в государстве», по

крайней мере, хоть наружно. Признаки эти: отчужденность и отчудимость на степени религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире лишь одна народная личность — еврей, а другие хоть есть, но все равно надо считать, что как бы их не существовало. «Выйди из народов и оставь свою особь, и знай, что с сих пор ты един у Бога, остальных истреби, или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что все покорится тебе... А пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй, и ожидай, ожидай...» Вот суть идеи этого «государства в государстве», *а затем, конечно, внутренние, а, может быть, и таинственные законы, ограждающие эту идею...»*

Вещий провидец тут призвал одну из величайших тайн еврейского мессианства: существование тайных законов, тайной программы, тайного плана тысячелетней войны еврейства с человечеством.

Эта война вполне раскрылась в начале девятисотых годов, когда С. А. Нилус опубликовал «Протоколы Собраний Сионских Мудрецов».

В этих Протоколах была изложена систематическая программа захвата евреями всей власти над миром.

«В 1901 году, — писал С. А. Нилус во втором издании своего труда (1911 г., стр. 52—53), — мне удалось получить в свое распоряжение от одного близкого мне человека, ныне уже скончавшегося, рукопись, в которой с необыкновенной отчетливостью и ясностью изображены ход и развитие всемирной роковой тайны еврейско-масонского заговора, имеющего привести отступнический мир к неизбежному для него концу. Лицо, передавшее мне эту рукопись, удостоверяет, что она представляет собой точную копию перевод с подлинных документов, выкраденных женщиной у одного из влиятельнейших и наиболее посвященных руководителей франмасонства после одного из тайных заседаний «посвященных» где-то во Франции, этом ожидовленном гнезде франмасонского заговора. Эту-то рукопись, под общим заглавием «Протоколы Собраний Сионских Мудрецов», я и предлагаю желающим видеть и слышать, и разуметь».

«Впервые рукопись эта увидела свет только в конце 1905 года во 2-м издании книги моей «Великое в малом и Антихрист, как близкая политическая возможность». Тогда был самый разгар всероссийского пожара, так называемого «освободительного движения», с исключительной ясностью и силой оправдавшего нашу уверенность в подлинности «Протоколов». Один Господь знает, сколько мною было потрачено от 1901 по 1905 годы тщетных усилий дать им движение с целью предварения власть имущих о причинах грозы, уже давно собиравшейся над беспечной, а теперь — увы — и обезумевшей Россией...».

«Сионские Протоколы» были переизданы С. А. Нилусом вторым изданием в 1911 году и третьим в начале 1917 года. Последнее издание, напечатанное в типографии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры было тогда же истреблено революционерами и распространено не было.

В течение шестнадцати лет, с 1901 по 1917 год, бился С. А. Нилус с Темной Силой и «предварял власть имущих о причинах грозы, собиравшейся над беспечной и — увы — обезумевшей Россией», и своевременным распространением «Сионских Протоколов» пытался просветить и образумить стремившееся в бездну революции российское общество.

Все оказалось тщетно. Те, кто в течение веков выработали сатанински хитрую, змеино-мудрую программу «Сионских Протоколов» — в отношении несчастной России достигли полной победы, а в отношении других народов сделали много шагов вперед на зловещем пути мирового владычества еврейства...

Россия испытала на себе все приемы моральной и телесной вивисекции, предуказанные тайной программой «Сионских Протоколов». И если до революции 1917 года еще было возможно сомневаться в подлинности этой еврейской программы, то теперь, после того, как программа эта была осуществлена до последних мелочей и это осуществление привело к явному порабощению великой, христианской Империи под власть еврейского Интернационала, — всякие сомнения стали невозможны.

После падения России и торжества большевиков «Сионские Протоколы» привлекли всеобщее внимание.

В указанной книге Генри Форда (стр. 92) читаем:

«Вот что, между прочим, писал Герман Бернштейн в «American Hebrew» от 25 июня 1920 года: «Приблизительно год тому назад один чиновник Министерства юстиции показал мне копию рукописи некоего Нилуса «Еврейская опасность» и просил меня высказать мое о ней мнение. Он мне сказал, что эта рукопись представляет собой перевод русской книги, вышедшей в 1905 году, которая впоследствии была изъята из обращения. По-видимому, рукопись представляла собой «Протоколы Сионских Мудрецов» и была прочитана, как предполагают, доктором Герцелем на тайной конференции сионистов в Базеле. Чиновник сказал мне, что, по его мнению, рукопись является сочинением доктора Герцеля... Далее он упомянул, что *многие американские сенаторы, которые ознакомились с рукописью, были поражены, увидав, что евреями за столько лет вперед был выработан план, ныне осуществившийся, и что большевизм уже за много лет вперед замышлялся евреями с целью разрушения мира».* **(Курсив наш).**

И далее в той же книге (стр. 95):

«Распространение «Протоколов» в Соединенных Штатах можно объяснить только тем, что они проливают большой свет и придают особое значение известным фактам, наблюдавшимся и раньше. Это обстоятельство так важно, что оно-то и придает особый вес документам, подлинность которых не удостоверена. Простая ложь долго не живет, и сила ее быстро слабеет». *«Протоколы», напротив того, высказывают свою живучесть больше, чем когда-либо: они проникли в более высокие сферы, чем раньше, и к ним относятся более серьезно, чем прежде».*

«Протоколы» не стали бы более ценными и интересными, если бы даже они носили имя Теодора Герцеля. Их анонимность так же мало уменьшает их ценность, как отсутствие подписи художника — художественную ценность картины. Даже лучше, что происхождение протоколов неизвестно. Если бы в точности было установлено, что группа интернациональных евреев в 1896 году во Франции или Швейцарии на конференции выработала программу завоевания мира, то пришлось бы еще доказывать, что эта программа выдумана ими не в шутку и что в основе ее лежало действительное желание провести ее в жизнь».

«Протоколы представляют собой мировую программу; в этом не сомневается никто. Чья это программа, — указано в самих протоколах. Спрашивается, что было бы ценнее для доказательства ее подлинности, — одна, шесть или двадцать подписей, или двадцатипятилетняя цепь усилий, направленных к ее осуществлению?»

«Для нас, американцев, интересно не то, составлял ли эту программу преступник или сумасшедший, а то, что когда она была составлена, то появились средства и пути для проведения в жизнь отдельных, важнейших частей ее». **(Курсив наш).**

А для нас, русских, важно и необходимо знать, что программу «Сионских Протоколов» составил коллективный преступник, нарушитель законов Божеских и человеческих — всемирный заговорщик — мессианствующее еврейство.

Мы, русские, должны постоянно помнить, что именно еврейством эта программа была испытана и применена на теле живой России и послужила ему сперва орудием разложения, а затем и орудием порабощения.

V. — Попытки евреев опорочить «Сионские Протоколы».

В России еврейству удалось замолчать издания С. А. Нилуса и с помощью продажной прессы и подвластных масонству деятелей «общественности» скрыть правду от народа, нависшую над Россией еврейскую опасность.

Но после падения Русского Государства и воцарения еврейской тирании не только спасшиеся за рубежом русские люди, но и все сознательно мыслящее и национально чувствующее человечество обратило внимание на эту программу еврейских захватов.

«Сионские Протоколы» были двукратно переизданы покойным Ф. В. Винбергом, а затем появились переводы почти на всех языках мира, даже на японском и финском. Особенное внимание привлекла к себе эта программа в Германии, Англии и Северной Америке.

В настоящее время в мире едва ли найдется образованный человек, который хотя бы понаслышке не знал о «Сионских Протоколах».

Все это вынудило руководителей еврейства к массовым опровержениям и ко всевозможным ухищрениям для доказательства подложности «Сионских Протоколов».

У меня нет ни места, ни охоты перебирать всю пахучую свалку еврейских извращений, передержек, лжи, клеветы и злобной брани, выброшенных по сему вопросу со страниц еврейских и жидовствующих изданий. Но остановиться на некоторых из еврейских опровержений все же необходимо, так как неосведомленных российских обывателей этот гвалт опровержений может, чего доброго, смутить.

Крупнейшая еврейская артиллерия для разгрома «Протоколов» собрана в книге Ю. Делевского, изданной в 1923 году в Берлине и озаглавленной «Протоколы Сионских Мудрецов». В качестве прикрытия еврейскому сочинению Ю. Делевского предпослано предисловие православного софиста Антона Владимировича Карташова, который с усердием, достойным лучшего применения, стал на страже «гонимого» племени и, призвав *«рядовых пастырей русской церкви»* (они — рядовые, а он сам, по-видимому, — генерал?!), *с легкостью разъясняет ложь «Сионских Протоколов»,* выразил свою радость тому, что Ю. Делевский, наконец-то, преподал русской Церкви средство защитить себя «от порока антисемитизма».

Радость г-на Карташова была, конечно, весьма неискренняя, ибо, как ни пыжился Ю. Делевский, как ни бранил антисемитов, все же он не смог доказать и не доказал подложности «Сионских Протоколов».

Вся система доказательства этого шустрого еврея была построена на кропотливом подборе цитат и отдельных мест из предшествовавшей «Сионским Протоколам» литературы, в которых выражались те же мысли, что и в «Протоколах». Тут и аббат Шаботи, и Гужено де Муссо, и Эдуард Дрюмон, потревожена даже тень Победоносцева, исследован роман Ретклифа и, как венец творения, отыскан в пыли архива некий «Диалог» Мориса Жоли.

Этот последний документ действительно содержит много мест, общих с «Протоколами» не только по содержанию, но и по отдельным выражениям, с той только разницей, что в «Протоколах» говорят тайные еврейские властители, а в «Диалоге» — Маккиавели, под которым Жоли разумел Наполеона III.

Из этого несомненного сходства «Диалога», написанного в 60-х годах 19-го столетия, с «Протоколами» Ю. Делевский победоносно вывел, будто «Сионские Протоколы» являются плагиатом-переделкой «Диа-

лога». И на первый взгляд такой вывод кажется как будто правильным.

Но это только на первый взгляд.

В действительности никакого плагиата тут не было, а было лишь разновременное использование разными писателями одного и того же документа — программы еврейского мессианизма. Разве можно называть плагиаторами авторов, которые, скажем, цитируют Библию? Несомненно, что каждый такой автор, выписывая страницы и тексты из Библии, всегда пишет одни и те же слова и выражения, высказывает одни и те же мысли. И если бы Ю. Делевский перебрал ряд писателей, писавших на библейские темы, то он легко бы мог уличить их в плагиате друг у друга: все ведь приводят одни и те же тексты и, соответственно, выражают одни и те же мысли.

Революционер 2-й Империи, коммунар 1871 года, франмасон Морис Жоли, несомненно, принадлежал к тайному еврейскому сообществу и потому имел доступ к тайной программе мессианистов — покорителей мира. Естественно, что, получив от своего ордена приказ выпустить против Наполеона III памфлет с обвинениями в империализме, деспотизме и терроре, он приписал своему Маккиавели (т. е. Наполеону III) все те замыслы, которые его, Мориса Жоли, руководители осуществляли в действительности по раз и навсегда, в течение веков выработанной, программе.

Как ни мстительны мессианисты, все же немало было от них отпадений, немало было людей, ужаснувшихся сатанизма и ушедших из их рядов; и не удивительно, что иные писатели, вроде Гужено де Муссо, Ретклифа и других, узнавали о существовании мессианской программы и сообщали из нее некоторые выдержки.

С. А. Нилусу посчастливилось достать большую часть этой таинственной программы и опубликовать ее. И если отдельные места этой программы сходственно изложены у прежних писателей, то это есть лишь доказательство, подтверждающее постоянное существование мессианской программы, а никак не опровергающее оную.

Самое же главное и самое существенное соображение высказано все тем же Генри Фордом: «Не то важно, кто и как достал и опубликовал «Сионские Протоколы», а то, что еврейская программа, опубликованная в 1905 году, была фактически во всех главных частях своих осуществлена в течение последующих двадцати лет».

Князь М. ГОРЧАКОВ

Весь текст печатаемых далее Протоколов взят из подлинного издания С. Нилуса, напечатанного в типографии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 1911 году.

ПРОТОКОЛ № 1-й.

Право в силе. Свобода — идея. Либерализм. Золото. Вера. Самоуправление. Деспотизм капитала. Внутренний враг. Толпа. Анархия. Политика и мораль. Право сильного. Необоримость масонско-еврейской власти. Цель оправдывает средства. Толпа — слепец. Политическая азбука. Партийные раздоры. Наиболее целесообразный образ правления — самодержавие. Спирт. Классицизм. Разврат. Принцип и правила масонско-еврейского правительства. Террор. Свобода, равенство, братство. Принцип династического правления. Психологический расчет. Абстракция свободы. Сменяемость народных представителей.

...Отложив фразерство, будем говорить о значении каждой мысли, сравнениями и выводами осветим обстоятельства.

Итак, я формулирую нашу систему с нашей и гоевской * точек зрения.

Надо заметить, что люди с дурными инстинктами многочисленнее добрых, поэтому лучшие результаты в управлении ими достигаются насилием и устрашением, а не академическими рассуждениями. Каждый человек стремится к власти, каждому хотелось бы сделаться диктатором, если бы только он мог, но при этом редкий не был бы готов жертвовать богами всех ради достижения благ своих.

Что сдерживало хищных животных, которых зовут людьми? Что ими руководило до сего времени?

В начале общественного строя они подчинились грубой и слепой силе, потом — закону, который есть та же сила, только замаскированная. Вывожу заключение, что по закону естества — право в силе.

Политическая свобода есть идея, а не факт. Эту идею надо уметь применять, когда является нужным идейной приманкой привлечь народные силы к своей партии, если таковая задумала сломить другую. У власти находящуюся. Задача эта облегчается, если противник сам заразится идеей свободы, так называемым либерализмом и ради идеи поступится своей мощью. Тут-то и проявится торжество нашей теории: распущенные бразды правления тотчас же по закону бытия подхватываются и подбираются новой рукой, потому что слепая сила народа дня не может пробыть без руководителя, и новая власть лишь заступает место старой, ослабевшей от либерализма.

В наше время заместительницей либералов-правителей явилась власть золота. Было время — правила вера. Идея свободы неосуществима, потому что никто не умеет пользоваться ею в меру. Стоит только народ на некоторое время предоставить самоуправлению, как оно превращается в распущенность. С этого момента возникают междоусобицы, скоро переходящие в социальные битвы, в которых государства горят и значение их превращается в пепел.

Истощается ли государство в собственных конвульсиях, или же внутренние распри отдают его во власть внешним врагам, во всяком случае, оно может считаться безвозвратно погибшим: оно в нашей власти. Деспотизм капитала, который весь в наших руках, протягивает ему соломинку, за которую государству приходится держаться поневоле, в противном случае оно катится в пропасть.

Того, который от либеральной души сказал бы, что рассуждения такого рода безнравственны, я спрошу: если у каждого государства два врага и если по отношению к внешнему врагу ему дозволено и не почитается безнравственным употреблять всякие меры борьбы, как например: не ознакомлять врага с планами или нападениями защиты, нападать на него ночью или неравным числом людей, то почему такие же меры в отношении худшего врага, нарушителя общественного строя и благоденствия, можно назвать недозволенными и безнравственными?

Может ли здравый логический ум надеяться успешно руководить толпами при помощи разумных увещеваний или уговоров при возможности противоречия хотя бы и бессмысленного, но которое может показаться поверхностно разумеющему народу более приятным? Руководствуясь исключительно мелкими страстями, поверьями, обычаями, традициями и сентиментальными теориями, люди в толпе и люди толпы поддаются партийному расколу, мешающему всякому соглашению даже на почве вполне разумного увещевания. Всякое решение толпы зависит от случайного или подстроенного большинства, которое, по неведению политических тайн, произносит абсурдное решение, кладущее зародыш анархии в управление.

Политика не имеет ничего общего с моралью. Правитель, руководствующийся моралью, неполитичен, а потому непрочен на своем престоле. Кто хочет править, должен прибегать и к хитрости, и к лицемерию. Великие народные качества — откровенность и честность — суть пороки в политике, потому что они свергают с престолов лучше и вернее сильнейшего врага. Эти качества должны быть атрибутами гоевских царств, мы же отнюдь не должны руководствоваться ими.

Наше право — в силе. Слово «право» есть отвлеченная и ничем не доказанная мысль. Слово это означает не более как: дайте мне то, чего я хочу, чтобы я тем самым получил доказательство, что я сильнее вас.

Где начинается право? Где оно кончается?

В государстве, в котором плохая организация власти, безличие законов и правителя, обезличенных размножившимися от либерализма правами, я черпаю новое право — броситься по праву сильного и разнести все существующие порядки и установления, наложить руки на законы, перестроить все учреждения и сделаться владыками тех, которые предоставили нам права своей силы, отказавшись от них добровольно, либерально...

Наша власть при современном шатании всех властей необоримее всякой другой, потому что она будет незримой до тех пор, пока не укрепится настолько, что ее уже никакая хитрость не подточит.

Из временного зла, которое мы вынуждены теперь совершать, произойдет добро непоколебимого правления, которое восстановит правильный ход механизма народного бытия, нарушенного либерализмом. Результат оправдывает средства. Обратим же внимание в наших планах не столько на доброе и нравственное, сколько на нужное и полезное.

Перед нами план, в котором стратегически изложена линия, от которой нам отступать нельзя без риска видеть разрушение многовековых работ.

Чтобы выработать целесообразные действия, надо принять во внимание подлость, неустойчивость, непостоянство толпы, ее неспособность понимать и уважать условия собственной жизни, собственного благополучия. Надо понять, что мощь толпы слепая, неразумная, не рассуждающая, прислушивающаяся направо и налево. Слепой не может водить слепых без того, чтобы их не довести до пропасти, следовательно, члены толпы, выскочки из народа, хотя бы и гениально умные, но в политике не разумеющие, не могут выступать в качестве руководителей толпы без того, чтобы не погубить всей нации.

Только с детства подготовляемое к самодержавию лицо может ведать слова, составляемые политическими буквами.

Народ, предоставленный самому себе, т. е. выскочками из его среды, саморазрушается партийными раздорами, возбуждаемыми погоней за властью и почестями, и происходящими от этого беспорядками. Возможно ли народным массам спокойно, без соревнования, рассудить, управиться с делами страны, которые не могут смешиваться с личными интересами? Могут ли они защищаться от внешних врагов? Это немыслимо, ибо план, разбитый на несколько частей, сколько голов в толпе, теряет цельность, а потому становится непонятным и неисполнимым.

Только у самодержавного лица планы могут выработаться обширно ясными, в порядке, распределяющем все в механизме государственной машины; из чего надо заключить, что целесообразное для пользы страны направление должно сосредоточиться в руках одного ответственного лица. Без абсолютного деспотизма не может существовать цивилизация, проводимая не массами, а руководителем их, кто бы он ни был. Толпа — варвар, проявляющий свое варварство при каждом случае. Как только толпа захватывает в свои руки свободу, она ее вскоре превращает в анархию, которая сама по себе есть высшая степень варварства.

Взгляните на наспиртованных животных, одурманенных вином, право на без-

* Гои — христиане и вообще все неевреи.

мерное употребление которого дано вместе со свободой. Не допускать же нам и наших дойти до того же.. Народы гоев одурманены спиртными напитками, а молодежь их одурела от классицизма и раннего разврата, на который ее подбивала наша агентура — гувернеры, лакеи, гувернантки — в богатых домах, приказчики и проч., наши женщины в местах гоевских увеселений. К числу этих последних я причисляю и так называемых «дам из общества», добровольных последовательниц их по разврату и роскоши.

Наш пароль — сила в лицемерии. Только сила побеждает в делах политических, особенно, если она скрыта в талантах, необходимых государственным людям. Насилие должно быть принципом, а хитрость и лицемерие — правилом для правительств, которые не желают сложить свою корону к ногам агентов какой-либо новой силы. Это зло есть единственное средство добраться до цели, добра. Поэтому мы не должны останавливаться перед подкупом, обманом и предательством, когда они должны послужить к достижению нашей цели. В политике надо уметь брать чужую собственность без колебаний, если ею мы добьемся покорности и власти.

Наше государство, шествуя путем мирного завоевания, имеет право заменить ужасы войны менее заметными и более целесообразными казнями, которыми надобно поддерживать террор, располагающий к слепому послушанию. Справедливая, но неумолимая строгость есть величайший фактор государственной силы: не только ради выгоды, но и во имя долга, ради победы нам надо держаться программы насилия и лицемерия. Доктрина расчета настолько же сильна, насколько и средства ею употребляемые. Поэтому не столько самими средствами, сколько доктриной строгости мы восторжествуем и закрепостим все правительства своему сверхправительству. Достаточно, чтобы знали, что мы неумолимы, чтобы прекратить ослушания.

Еще в древние времена мы среди народа впервые крикнули слова: «свобода, равенство, братство», слова, столь много раз повторенные с тех пор бессознательными попугаями, отовсюду налетевшими на эти приманки, с которыми они унесли благосостояние мира, истинную свободу личности, прежде так огражденную от давления толпы. Якобы умные, интеллигентные гои не разобрались в отвлеченности произнесенных слов, не заметили противоречия их значения и соответствия их между собой, не увидели, что в природе нет равенства, не может быть свободы, что сама природа установила неравенство умов, характеров и способностей, равно и подвластность ее законам, не рассудили, что толпа — сила слепая, что выскочки, избранные из нее для управления, в отношении политики такие же слепцы, как и она сама, что посвященный, будь он даже гений, ничего не поймет в политике — все это гоями было упущено из виду, а между тем на этом зиждилось династическое правление: отец передавал сыну знание хода политических дел так, чтобы никто его не ведал, кроме членов династии, и не мог бы выдать его тайны управляемому народу. Со временем смысл династической передачи истинного положения дел политики был утрачен, что послужило успеху нашего дела.

Во всех концах мира слова — «свобода, равенство, братство» — становили в наши ряды через *наших слепых агентов* целые легионы, которые с восторгом несли наши знамена. Между тем эти слова были червяками, которые подтачивали благосостояние гоев, уничтожая всюду мир, спокойствие, солидарность, разрушая все основы их государств. Вы увидите впоследствии, что это послужило к нашему торжеству: *это нам дало возможность, между прочим, добиться важнейшего козыря в наши руки — уничтожения привилегий, иначе говоря, самой сущности аристократии гоев, которая была единственной против нас защитой народов и стран.* На развалинах природной и родовой аристократии мы поставили аристократию нашей интеллигенции, во главе всего, денежной. Центр этой новой аристократии мы установили в богатстве, от нас зависимом, и в науке, двигаемой нашими мудрецами.

Наше торжество облегчилось еще тем, что в сношениях с нужными нам людьми мы всегда действовали на самые чувствительные струны человеческого ума — на расчет, на алчность, на ненасытность материальных потребностей человека, а каждая из перечисленных человеческих слабостей, взятая в отдельности, способна убить инициативу, отдавая волю людей в распоряжение покупателя их деятельности.

Абстракция свободы дала возможность убедить толпу, что правительство ничто иное, как управляющий собственника страны — народа и что его можно сменять, как изношенные перчатки.

Сменяемость представителей народа отдавала их в наше распоряжение и как бы нашему назначению.

ПРОТОКОЛ № 2-й.

Экономические войны — основание еврейского преобладания. Показная администрация и «тайные советники». Успехи разрушительных учений. Приспособляемость в политике. Роль прессы. Стоимость золота и ценность еврейской жертвы

Нам необходимо, чтобы войны, по возможности, не давали территориальных выгод: это перенесет войну на экономическую почву, в которой нации в нашей помощи усмотрят силу нашего преобладания, а также положение вещей отдаст обе стороны в распоряжение нашей интернациональной агентуры, обладающей миллионами глаз, взоров, непреграждённых никакими границами. Тогда наши международные права сотрут народные в собственном смысле права и будут править народами так же,

как гражданское право государств правит отношениями своих подданных между собой.

Администраторы, выбираемые нами из публики, в зависимости от их рабских способностей, не будут лицами, приготовленными для управления, и потому они легко сделаются пешками в нашей игре, в руках наших ученых и гениальных советчиков, специалистов, воспитанных с раннего детства для управления делами всего мира. Как вам известно, эти специалисты наши черпали для управления нужные сведения из наших политических планов, из опыта истории, из наблюдений над каждым текущим моментом. Гои не руководствуются практикой беспристрастных исторических наблюдений, а теоретической рутиной, без всякого критического отношения к ее результатам. Поэтому нам нечего с ними считаться — пусть они себе до времени веселятся, или живут надеждами на новые увеселения, или воспоминаниями о пережитых. Пусть для них играет главнейшую роль то, что мы внушили им признавать за веления науки (теории). Для этой цели мы постоянно, путем нашей прессы, возбуждаем слепое доверие к ним. Интеллигенты гоев будут кичиться знаниями и без логической их проверки проведут в действие все почерпнутые из науки сведения, скомбинированные нашими агентами с целью воспитания умов в нужном для нас направлении.

Вы не думайте, что утверждения наши голословны: обратите внимание на подстроенные нами успехи дарвинизма, марксизма, ницшеизма. Растлевающее значение для гоевских умов этих направлений нам-то, по крайней мере, должно быть очевидно.

Нам необходимо считаться с современными мыслями, характерами, тенденциями народов, чтобы не делать промахов в политике и в управлении административными делами. Торжество нашей системы, части механизма которой можно располагать разно, смотря по темпераменту народов, встречаемых нами по пути, не может иметь успеха, если практическое ее применение не будет основываться на итогах прошлого в связи с настоящим.

В руках современных государств имеется великая сила, создающая движение мысли в народ — это пресса. Роль прессы — указывать якобы необходимые требования, передавать жалобы народного голоса, выражать и создавать неудовольствия. В прессе воплощается торжество свободоговорения. Но государства не умели воспользоваться этой силой; *и она очутилась в наших руках.* Через нее мы добились влияния, сами оставаясь в тени, благодаря ей мы собрали в свои руки золото, невзирая на то, что нам его приходилось брать из потоков крови и слез... Но мы откупились, жертвуя многими из нашего народа. *Каждая жертва с нашей стороны стоит тысячи гоев перед Богом.*

Продолжение следует

ПО БЕСОВСКОМУ СЦЕНАРИЮ

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

В октябрьском номере «Кубани» за прошлый год не осталась незамеченной читателями публикация «К вопросу о национальном отступничестве». Построенная на материале стенограммы выступлений на февральском секретариате СП РСФСР 1983 года, она бесстрастно воссоздавала документальную картину судилища над М. П. Лобановым и журналом «Волга», где была опубликована его статья «Освобождение». Командно-административный аппарат (с подачи партократа А. Беляева) руками российских писателей расправлялся с критиком за его взгляды.

Публикация получила широкий резонанс как у широкого читателя, так и в профессиональной писательской среде. Одним из результатов этого явилось публичное признание своей неправоты в том разбирательстве застойных лет С. В. Михалкова, прозвучавшее на VII съезде писателей России. Выступил на съезде и сам М. П. Лобанов.

Этот своеобразный Ответ **МИХАИЛА ЛОБАНОВА** *мы и предлагаем вниманию читателей:*

Я не думал выступать на съезде, но, видимо, будет невежливо, если я не скажу несколько слов по поводу одного выступления. Я имею в виду выступление Сергея Владимировича Михалкова. Здесь, на съезде, он принес мне извинения за свое выступление

на секретариате СП РСФСР в феврале 1983 года, когда после решения Секретариата ЦК КПСС подвергалась разносу моя статья в журнале «Волга». Мне хотелось бы услышать от секретариата СП и извинение перед Николаем Егоровичем Палькиным, снятым тогда же с поста главного редактора «Волги» за публикацию моей статьи. Тем не менее — извинение Сергея Владимировича — своеобразный аристократизм на фоне литературно-критического плебейства многих участников того судилища. В нем тогда активно участвовали товарищи Поволяев, Шундик, Друнина и другие. Особенно усердствовал Валерий Дементьев, секретарь СП РСФСР, не испытывающий ныне никаких моральных неудобств.

Можно понять Сергея Михалкова, который под давлением цековского начальства в лице Альберта Беляева делал то, что от него требовали. Но Валерий Дементьев, мало того, что на секретариате задавал в качестве докладчика тон обвинительному разговору (см. журнал «Кубань», № 10 за 1990 год), но уже и после этого, без всякой, так сказать, необходимости, преследовал автора статьи, не раз выступая в Литинституте, кроме того, в Госкомиздате РСФСР, в редакции журнала «Октябрь» и т. д.

История с «Волгой» поучительна в национальном отношении. Характерно, что большинство громивших, за исключением Юрия Бондарева, «Волгу», мою статью — русские, полтора десятка секретарей СП, лауреатов. Альберт Беляев слушал их и потирал руки от удовольствия: вот — русские дураки, бьют своего, лежачего.

Это не в диковинку. Этим методом пользовались и пользуются политики. Ленин, составляя свое сверхсекретное письмо членам Политбюро по изъятию церковных ценностей, призывая к беспощадной расправе над священнослужителями, к их массовому расстрелу, и возлагая исполнение всего этого на Троцкого, вместе с тем предупреждал, чтобы в печати имя Троцкого нигде не упоминалось, а чтобы фигурировало имя Калинина. Михаил Иванович, как стилизованный крестьянин, больше подходил для этой цели: как же, ведь говорит с народом свой брат, русский, хотя у самого Калинина отношение к церкви было не столь оголтелое, как у Ленина, даже довольно примирительное, но порученное ему бесовское дело он тем не менее выполнил рабски.

Сейчас левые радикалы испытывают явные затруднения, растет все большее недоверие к ним, разваливающим страну, и поэтому они пытаются использовать русских, и те идут на это. Создан, например, Советский Фонд милосердия, его президентом стал А. Н. Яковлев. Милосердное дело отдается в руки человеку с известной репутацией. В вышедшем первом номере журнала этого Фонда «Согласие» приведен список редакционно-издательского совета. Среди множества левых радикалов пара фамилий русских писателей, известных читателям, телезрителям своей земледельческой, милосердной тематикой. И вот читая, слушая этих авторов, причастных к яковлевскому фонду, люди поверят, что Яковлев самый милосердный в стране человек. Я не могу представить подписи какого-нибудь левого радикала — вместе с подписями, скажем, руководителей «Памяти». Почему же мы, русские, так податливы на соглашательство?

Впрочем, эта проблема, проблема национальной самокритики, для отдельного, серьезного, глубокого разговора

Главный редактор В. А. Квиашкин

Редакционная коллегия: Бондарчук С. Ф., Варавва И. Ф., Захарченко В. Г., Знаменский А. Д., Кузнецов Ю. П., Ластовкин Ю. В. (зам. гл. редакторв), Придиус П. Е., Соловьев Г. М. (ответственный секретарь)

Технический редактор О. В. Глова

Сдано в набор 04.02.91. Подписано в печать 14.03.91. Формат бумаги 70 x 100 1/16. Бумага типографская № 2. Уч.-изд. л. 10,26. Тираж 60 000. Заказ 111. Адрес редакции: 350650, Краснодар, а/я 69, ул. Коммунаров, 59. Телефоны: главный редактор — 52-29-44, заместитель главного редактора, секретариат — 59-22-60. Типография издательства «Советская Кубань». 350680, Краснодар, ул. Шаумяна, 106.
Редакция принимает только первые экземпляры не публиковавшихся ранее рукописей, отпечатанных на машинке.

Рукописи объемом меньше печатного листа не возвращаются.
Рукописи, присылаемые членам редколлегии, к рассмотрению не принимаются.

ПРОГРАММНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ РУССКОГО ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА (РОС)*

1. Общие положения

Русский общенациональный союз ставит своей целью:
— духовное и политическое объединение русского народа;
— национально-государственное, культурное и хозяйственное возрождение исторической России;
— восстановление у русского народа национального достоинства и образа жизни;
— развитие России на основе гармонизации отношений ЛИЧНОСТИ и ГОСУДАРСТВА;
— РОС считает недопустимым использование методов насилия.

2. Программные положения

1. Объединение и возрождение русского народа возможно только на основе традиционных ценностей: Бог, Отечество, Семья, Личность.
2. Общенациональные интересы должны быть поставлены выше партийных, групповых и частных.
3. Национально-государственное устройство страны нуждается в изменении. Создание СССР и РСФСР, их современное административно-территориальное деление не имеет под собой правовой и нравственной основы.
4. Будем добиваться проведения на территории России, Украины, Белоруссии и в областях с преобладающим славянским населением (Сев. Казахстан, Сев. Киргизия, Приднестровье) всенародного референдума по вопросу об их объединении в независимое и суверенное государство.
5. Поддерживаем добровольное самоопределение народов Средней Азии, Закавказья, Прибалтики и Молдавии. Требуем создать условия для возможности возвращения всех желающих россиян на историческую Родину и принятия соответствующих государственных программ.
6. Считаем необходимым отказ от коммунистической идеологии и практики.
7. Форму государственного устройства страны должен выбирать сам народ посредством всенародного референдума или через специально избранных представителей в высших органах власти (например, Земский Собор, Государственная дума).
8. Принцип свободы совести должен быть реализован не на словах, а на деле. Церкви необходимо предоставить права юридического лица, вернуть храмы и церковное имущество верующим, все разрушенное или изъятое коммунистическим государством восстановить за счет средств из бюджета КПСС.
9. Экономическое развитие России должно быть обеспечено опорой на многовековой опыт хозяйственной деятельности ее народов. Народное хозяйство должно базироваться на национальной основе при безусловном взаимодействии с мировым рынком.
10. Никакие экономические проблемы не могут быть решены без решения проблем нравственных.
11. Будущее России мы видим в создании сильной и независимой национальной экономики, имеющей в основе национальный рынок, свободу труда и предпринимательской деятельности, многообразие форм собственности.
12. Будем добиваться проведения программы социальной защиты малоимущих слоев населения через систему народных банков, предприятий и т. д.
13. Укрепление обороноспособности страны возможно только через возрождение традиций русской армии.
14. Необходимо поддерживать и возрождать национально-культурное своеобразие и традиции российских городов, сел, местностей, возвращение исторических названий и символики.
15. Природоохранная политика должна строиться с учетом национальных интересов. Требуем упразднения всех соглашений и проектов с государствами и республиками, наносящих России экономический и экологический вред.
16. Приоритетами внешней политики России должны стать: национально-государственная независимость, сотрудничество в рамках международного разделения труда и культурных контактов, невмешательство во внутренние дела суверенных стран, защита национальных интересов России и ее граждан за рубежом.

Оргкомитет по подготовке съезда РОС
(Москва, Екатеринодар, Нижний Новгород, Иркутск, Новосибирск, Чита, Верхнеудинск).

* Взгляды авторов публикуемой программы не во всем соответствуют позиции редакции журнала.